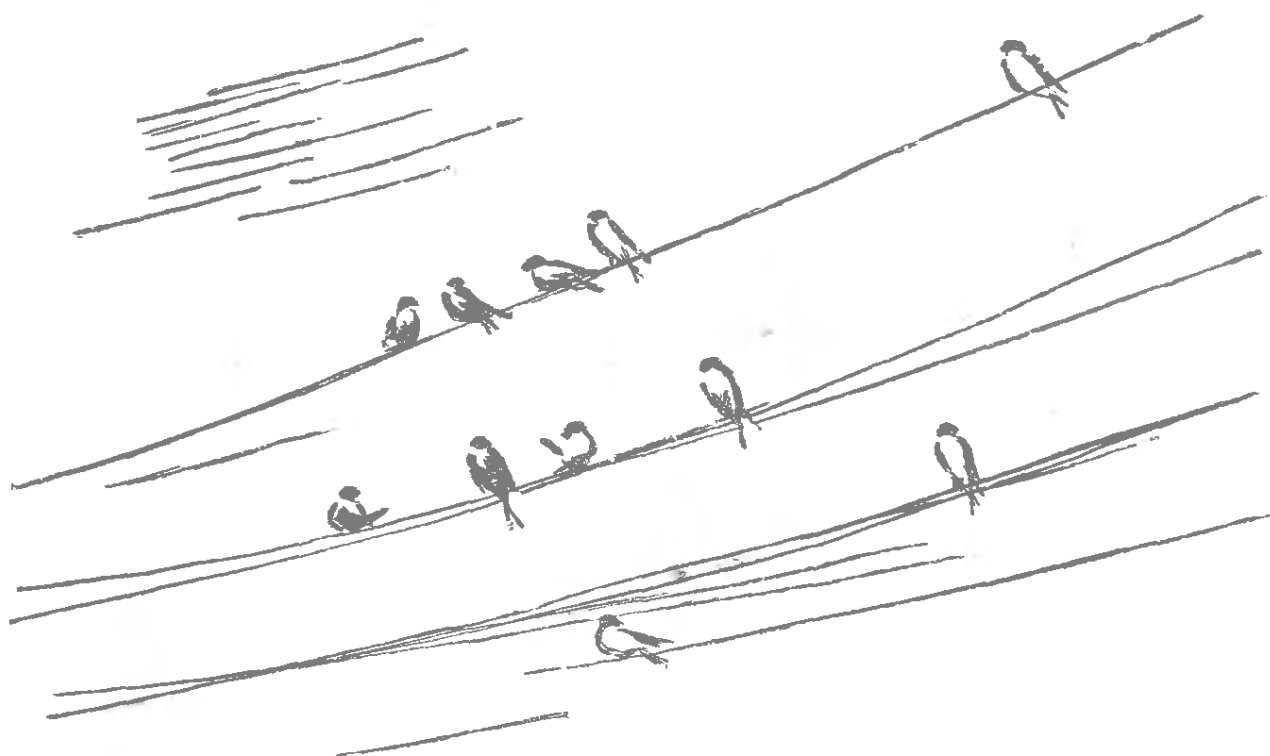


В. Шендряков

ЧУДОТВОРНАЯ

*Издательство
"Детская
литература"*

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ



В. ТЕНДРЯКОВ

ЧУДОТВОРНАЯ

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“ • 1967

Москва

Имя Влади́мира Фёдоровича Тендряко́ва хоро́шо извёстно сове́тскому чита́телю. Он написа́л мно́го книг. Но всё э́то кни́ги для взро́слых.

По́весь «Чудотво́рная» то́же не задумы́валась а́втором как де́тская кни́жка. Но она́ была́ при́нята ю́ным чита́телем, потому́ что исто́рия Ро́дьки Гуля́ева нашла́ большо́й и сочу́вственный о́тклик в ребя́чьих сердца́х.

Что стряслóсь в селе́ Гумни́щи?

Под обры́вистым бе́регом реки́ Пелего́вки Ро́дька нашёл зары́тую ико́ну. Её счита́ли ра́ньше чудотво́рной, то есть творя́щей чудеса́...

О собы́тиях, кото́рые произошли́ по́сле э́того с Ро́дькой Гуля́евым вы, ребя́та, са́ми узна́ете, прочита́в э́ту кни́гу.

Рисунки И. Браславского

7—6—3

Для восьмилетней школы

Тендряков Владимир Фёдорович

ЧУДОТВОРНАЯ

Повесть

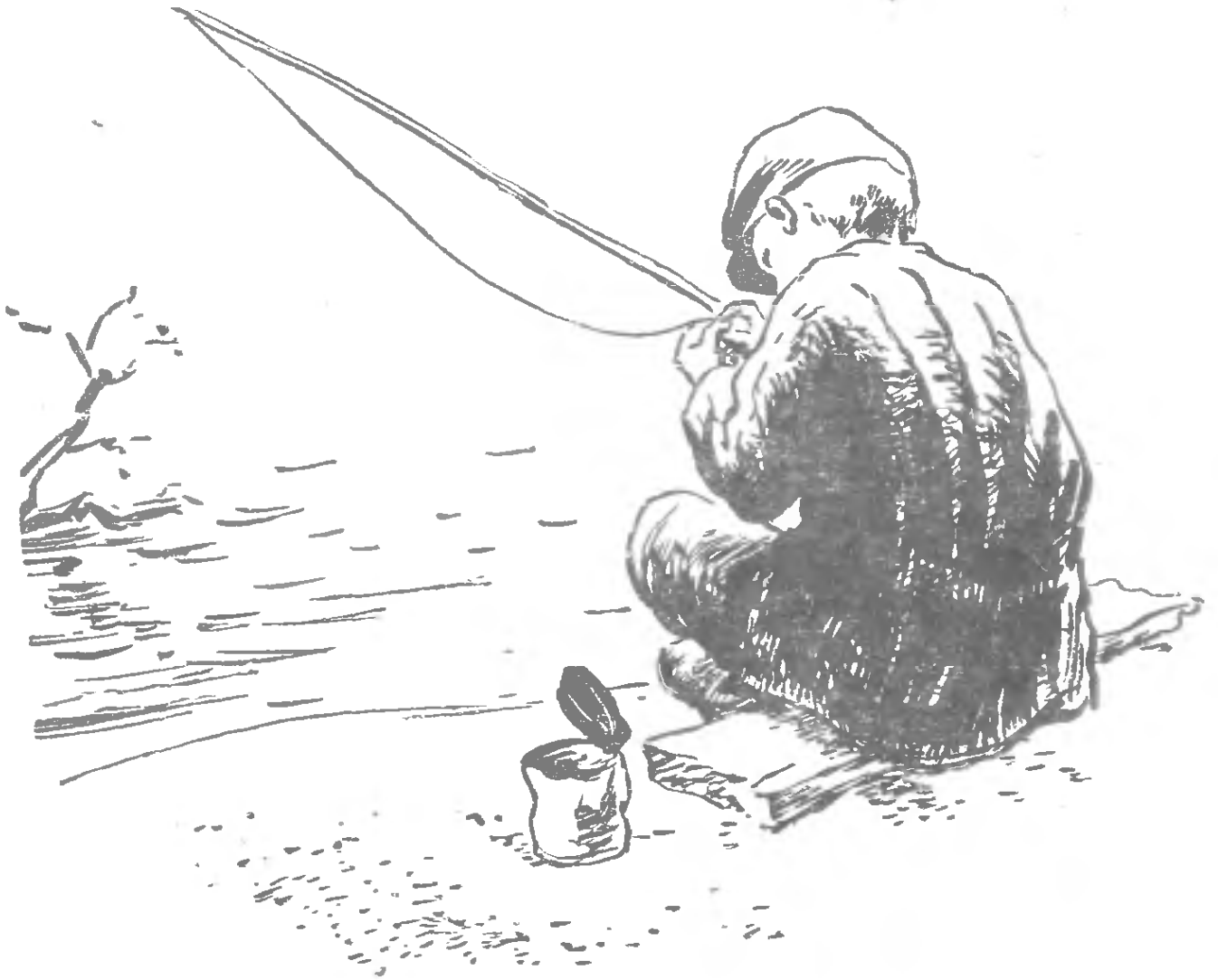
Ответственный редактор *М. И. Сальникова*. Художественный редактор *Н. Г. Холодовская*. Технический редактор *И. П. Данилова*. Корректоры *Н. А. Сафронова* и *Т. П. Лейзерович*. Сдано в набор 18/IV 1967 г. Подписано к печати 20/VI 1967 г. Формат 60×84^{1/16}. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 6,53. (Уч.-изд. л. 5,76). Тираж 100 000 экз. ТП 1967 № 615. Цена 27 коп. на бум. № 2. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Суцевский вал, 49. Заказ № 588.



1

Каждый год, в то время когда полая вода¹ идёт на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, куски земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.

¹ Полая вода — вода, разлившаяся весной после вскрытия реки.



Год за годом Пелегóвка упрямо въедаётся в луг, раскинувшийся под селом Гумни́щи.

В такие дни в неустойчившейся водё, случается, хватают на вы́ползней¹ подъя́зки². Соскучившиеся за зиму по реке гумни́щинские ребята́шки высыпа́ют на бе́рег. Хоро́ш клёв и́ли плох, о́ни все, как о́дин, терпе́ливо до су́мерек торча́т над у́дочками.

Родька Гуля́ев вы́брал ме́сто перед кро́хотной за́водью, подсу́нул под себя до́ску, чтоб сквозь штаны́ не холоди́ла мо́края земля́, и вот уже́ кото́рый час следи́л за поплавко́м.

¹ Вы́ползень — червя́к.

² Подъя́зки, язь — пресново́дная ры́ба из семе́йства ка́рпов.

Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Собно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадежно мертв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина¹ с киснувшей щетинистой дерновиной² казалась безжизненной.

Родька поднялся на затёкшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам — не перебраться ли в другое место? — и тут заметил, что в обрыве берега из плотного песка торчит темный угол какого-то ящика. Родька подошёл, пощупал его — кусок гнилой доски остался в руке.

«Хоронили что-то в землю.. Река открыла... — Родькино сердце разом упало. — А вдруг клад!»

Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо откапывать.

Ковыряться он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскачать и выдернуть из песка находку. Положив её к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжёл, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки, — такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы³ между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не распозалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.

Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина.

¹ В ы м о и н а — место, разрытое течением воды.

² Д е р н о в и н а — кусок дёрна; д е р н — густо заросший травой верхний слой почвы.

³ П а з ы; п а з — узкая длинная щель.

«Ишь прятали. Мешковина и та просмоленá... Дорогая штука, должно...»

От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подёргивало косточки в колёнках. Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул... широкую, тяжёлую доску.

Большая, тёмная, словно закопчённая, доска, и больше ничего!

Родька с разочарованием и недоумением её разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На прокопчённо-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован. Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но тёмные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчетливее. По-прежнему не столько сами чёрные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.

Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая борода соединялись длинным, прямым, как телёжный квач, носом. Разглядел Родька всё лицо — вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами от ноздрей, разглядел полукружие над головой и понял: он просто написто нашёл икону.

Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.

Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.

2

Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.

Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки — бабка бралась за

топёр, кляннй непутёвого муженькá своёй дóчери, и, призывáя гóспода бóга, святую дéву богорóдицу, обтёсывала нóвый столб. Бáбка самá возíла íз лесу дровá, самá косíла, самá таскáла на повéть сéно, самá пахáла. Рóдькину мать, свою дочь, тóже не жáлующуюся на здорóвье, звалá «жíдкой плóтью», постоянно ворчáла: «Умрú, похорóните — расползётся дом, как прéлый гриб». Высóкая, костíстая, поглядéть спéреди — широкá, слóвно дверь, сбóку — плóская, как доскá; лицó тóже ширóкое, угловáтое, с мослаковáтыми крутыми скúлами; над нíми в сухой смятости перевíтых корíчневых морщíн и морщíнок неспокойно и цéпко глядят жёлтые глаза. Сейчáс бáбка навалíлась на плуг, неуклюже переступáет огрóмными сапожíщами по пáхоте, покрíкивает на лóшадь:

— Н-но! Наказáние гóсподне! Шевелíсь, недодéланная! Обмóю хребтíну-то!

Мать Рóдьки, повязáв платóк так нízко, что он почти закрывáл глаза — жалéла лицó, прýтала от сóлнца, — собирáла с распáренной, улежáвшейся зá зиму пáхоты прошлогóдни картофельные плéти, свáливала их в разлóженный костёрчик. Сопрэвшие под снэгсм, не совсém ещё высохшие плéти горéли плóхо, по усáдьбе тянóлся сízый вонючий дым.

К Рóдькиной мáтери от стáрой Грачíхи перешлó скулáстое лицó да зелёный прищúр глаз сквозь белёсые реснíцы, но и скúлы ужé не так круто выпирали и лицó без угловáстей, кругло, со сдóбной подушечкой под мёлким подборóдком; дáже намёка нет на бáбкину худобú: плéчи пúхлы и покáты, стáренькая, выцветшая юбка трещít на бёдрах. Кудá бóльше от бáбки перепáло внуку. Пусть хрúпки плéчи, но дáже сейчáс под стáреньким вáтником чúствуется их разворót, лобáстая крупная головá лежít на них почти без шеи, цéвки рук тóнки, затó ладóни ширóкие, плóские, короткопáлые. Тепéрь вот обхватíл íми ширóкую дóску, расстáвил нóги в разбíтых сапогáх, головá склоненá лбом вперед, на нíжней губé болячка (застудíл, на рекé пропадáя) — сбíтенок, с годáми выключается из такóго Грач под стать стáрой Грачíхе.

— Набѣгался, безотцовщина? — Бабка остановила лошадь, стала очищать лѣмех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды. — ВАРЬКА, иди картошки свиные натолки. Пуцай гулявый будыльѣ таскает.

— А я икону нашёл, — похвастался Родька.

— Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти поробли.

Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, лёгонько толкнула Родьку в плечо:

— Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не даёт из-за тебя... Иди, иди, тут мы управимся.

— Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.

Родька положил на землю икону. Мать замолчала, взгляделась, сурово спросила:

— Где нашёл?

— Говорят, в берегу выкопал. В ящике заколочена была.

— Иди-ко сюда, мать.

Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.

— Вечно проказы. Иисусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу...

Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки среди дублёных морщинок остановились.

Икона лежала на земле, оплетённой прелой ботвой; два белых глаза с унылой суровостью уставились в лёгонькие, размазанные по синему небу облачка.

Тяжёлая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, негибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крестное знамение.

— Свят, свят... Иисусе Христе праведный... Варенька, голубушка, взгляни-ко, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты...

— Она, прощая, — подтвердила серьёзно и мать.

— Типун тебе на язык — «пропáщая». Не пропáщая, дёвонька, а новойвленная.

Бáбка схвати́ла с землёй ико́ну, прижимáя обе́ими рука́ми к груди́, бро́силась бего́м к до́му. Плато́к её совсе́м упáл на плéчи, открыв кро́хотный, как лу́ковица, седо́й пучо́к волос.

Родька подозрительно, исподло́бья проводил её взглядом: что́-то ба́бка серьёзно схвати́лась за ико́ну, да́же рабо́ту бро́сила, начнё́т пото́м зудеть, что, да как, да где нашёл, ска́жешь не по ней — по заты́лку схвати́шь.

— Ма́мка,— проговорил он,— я к Ва́ське пойду́ уро́ки де́лать.

Но мать не слы́шала. Она́, глядя всле́д ба́бке, распрями́лась, попра́вила плато́к, поту́же подтяну́ла концы́ у подборо́дка и, вы́ставив грудь, ме́лкими, чинными шажо́чками двину́лась с уса́дьбы.

3

Вéчером до́ма жда́ли Родьку.

Ещё с поро́га он уви́дел, что в избé полно́ наро́ду: ба́бка Домна, ба́бка Да́рья, ба́бка Секлетёя, со́гнутая попола́м ста́рая Жереби́ха. Среди стару́х, скрестив корóткие то́лстые ру́ки под оплы́вшей гру́дью, возвыша́лась могу́чая, не возьмёшь в обхва́т, Агния Ру́чкина. У неё пухли но́ги, свои́ водяни́стые телеса́ нарасти́ла, си́дя си́днем до́ма, а сейча́с вот приползла́ из друго́го конца́ села́. На её сыро́м, с дрожа́щими щека́ми и подборо́дком лице́ засты́ло покóрно-плакси́вое выраже́ние, тяжкий вздох вырыва́ется из груди́:

— Но́женьки моё́, но́женьки!..

У са́мых дверей, с краёшка, на ла́вке, уместился робкий старичи́шка — ночной сто́рож Сте́па Казачо́к: спечённый рот крёпко сжат, слезя́щиеся в кра́сных ве́ках гла́зки с испуго́м и недоуме́нием уста́вились на воше́дшего Родьку. Он пе́рвый ме́лко-ме́лко закрестился, засопёл, не спуска́я с мальчи́шки вла́жных, ча́сто мига́ющих го́лыми ве́ками глаз, заёрзал на ла́вке.

Мать и ба́бка, са́ми сло́вно в гостя́х, сидя́т рядко́м, сло-

жили докрасна вымытые руки на колёнях. У бабки жидкие волосы гладко причёсаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.

Икона, принесённая Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зёрнышки, огоньками несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.

— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь черными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами. — Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.

А Родька-ангел, продёрнув рукавом по мокрому носу, от непонятого внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение, — протиснулся бочком к печке.

— Избранник божий, надежда наша, — раскисла в улыбке Агния Ручкина. — Ох, ноженьки мои, ноженьки...

— Счастье тебе, Варварушка... Сынóк-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать. — Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В а́бо какие руки чудотворная икона не попадёт... Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.

Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.

— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочú, — сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай.

Помявшись, ещё ниже наклонив голову, Родька подошёл.

— Ну чего?

— Скажи ещё раз, милушко, где ты её достал?

— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина о́мута идти, то вправо.

Внимательно притихшие старухи разом завздыхали:



Вечером дома ждали Родьку.

— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная...

— Сам господь, должно, перстом указал... Ноженьки мой, ноженьки... Ох, согрешение!

— Да как же ты на неё наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.

— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал... А там — эта...

— Церковь-то наша без неё сірая и неприкаянная¹.

— Сказывают, ангелы мой, с той поры, как пропала чудотворная, каждую ночь купол пилит кто-то. Каждую ночь перед петухами...

— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.

Родька со страхом и недоумением слушал вспыхнувший разговор, оглядывался. А в тёмном углу избы, скупо освещённом крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на чёрной доске белели глазные яблоки.

4

Ушли гости. За тёмным окном в последний раз донеслось плачущее:

— Ноженьки мой, ноженьки...

Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю тёмную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолится на сон грядущий.

Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и крихтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп...

Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубаше, распустив по спине волосы, опустилась голыми коленями на холодный пол, замороженно уставилась на неподвижный огонёк лампы.

Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прощу-

¹ Сірая и неприкаянная — здесь: одинокая и забытая.

мёл вѣтер в молодой ли-
стве черёмухи. Вдалекѣ
спросонья гáркнул петух,
но, видать, не вóвремя:
никто ему не откликнулся.
Тихо.

Варвара сложила лó-
дочкой на груди руки, на-
чала бессвязно шептáть:

— Господи мѣлости-
вый... Никóла-угóдник...
В вѣчной тревоге живу́.
Помогѣ и образумь
меня...

Кáждый вѣчер, на-
правив лицó в угол, за-
ставленный икóнами,
Варвара шѣпчет: «Помо-
гѣ, господи!»

И так ужé много лет.

Когдá-то, в дѣвках,
ничего не боялась, не за-
глядывала со стрáхом в
зáвтрашний день, не вѣ-
рила ни в бóга, ни в чѣр-
та, за стол садѣлась, не
перекрестѣв лба, на вор-
котню мáтери, старóй
Грачѣхи, отвечáла:

— Бúдет нѣтъ-то!
Отошлá ныне мóда, кре-
стѣсь себѣ на здорóвье,
кóли нравится...

Сáмой большóй тре-
вóгой в ту пóру было —
придѣт ѣли не придѣт



Степáн на обрýв, к обвалíвшейся берёзе. Шла война, парнэй в селе́ было не гúсто; он то́же в óтпуск приёхал по́сле го́спиталья, припадал на рáненую но́гу. Ресни́цы у него́ бы́ли что у де́вки, глаза́ тёмные, ла́сковые, на гита́ре игра́л, подпевáл: «Распря́мись ты, рожь вы́сокая, та́йну свя́то сохрани́...» Сам в э́то время лука́во посме́ивался. Немáло в Гумни́щах молоды́х де́вок, но и она́, Варва́ра, была́ не из послéдних — не конопáта, не кривобо́ка: бывáло, прислонит́ся Степáн к вы́сокой груди́ — замрёт, как ребёнок. Стра́шная ве́ра охва́тывала тогдá — никака́я си́ла не оторвёт его́. «Распря́мись ты, рожь вы́сокая...» За весь ме́сяц, пока́ Степáн Гуля́ев жил в óтпуске, не пропусти́ли ни одной но́чи. Ни́чего тогдá не боя́лась Варва́ра, ни у когó не собира́лась про́сить по́мощи, по́мнить не по́мнила бо́га...

Но вот ко́нчился срок, проводи́ла Степáна. Без стесне́ния, как жена́, перед всем селе́м висела́ на ше́е, пла́кала в го́лос: «На ко-огó-о ты меня́-а покида́-аешь!»

Проводи́ла, ту́т-то и ста́ла задúмываться: вернётся ли, на фронт ведь уёхал, ребёнок бу́дет, ста́рая мать — по до́му то́лько по́мощница, вдруг да придётся куковáть солóменной вдово́й? ¹ Верну́ть бы! Если б мо́жно, на четверёнках че́рез леса́, ре́ки, городá поползла́ к нему́. Как по́мощь?! Чем?! Сиди́ облива́йся хо́лодным по́том при мы́сли, что всё бы́стро так ко́нчилось... Ко́нчилось?! Нет, нельзя́ э́того допустит́! Чтó-то на́до де́лать!.. Ста́рая Грачи́ха ви́дела всё, не перестава́я тверди́ла:

— Хва́тит казнит́ся. Со́хнешь да кровь по́ртишь бе́з толку. Моли́сь лу́чше. Моли́сь! Забы́ла го́спода-то. Горды́ня за́ела. За свою́ горды́ню такие́ ли му́ки му́ченические терпéть бу́дешь!

Чтó-то на́до де́лать Варва́ре. Стра́хи одолева́ют. Мо́жет, и в са́мом де́ле права́ мать: никако́й друго́й по́мощи не придума́ешь. Тогдá-то впервые́ Варва́ра ста́ла вечера́ми непослу́шными от волне́ний и трево́ги губáми моли́ть шёпотом: «Помо́ги, го́споди!»

¹ Куковáть солóменной вдово́й — жить одной, без му́жа.

Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабы ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распрямись ты, рожь...»

Напуганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не успокаивался, раздражённо ворчал:

— Скуча здесь. Того и гляди, шерстью обрастёшь.

Потом неожиданно сорвался, укатил в город, поступил на мебельную фабрику, пообещав, что, как только устроится, вызовет к себе Варвару с Родькой.

Кто знает, как бы повернулась жизнь, если б Степан прочно остался дома. Была бы семья, как у всех, — без уцёрбинки. Есть муж и отец, хозяин и опора, с ним и заботы пополам и любая беда в полбеда. Какой там страх перед завтрашним днём, когда рядом крепкое мужское плечо: знай живи, и бога ворошить незачем!

Но Степан уехал, и нет твёрдой надежды, что вернётся. Одна опора в семейных делах для Варвары — старая Грачиха. А та сама на себя не надеется, всё у бога помощи ищет, что ни день, то долбит: «Молись! Молись! Кроме как у господа, ни у кого помощи не найдёшь. Он всемогущ!..»

И Варвара по вечерам стояла на коленях, кланялась углу, уставленному иконами:

— Помоги, господи! Мать божья, заступница, не обойди милостью своей. Не загулял бы Степан-то на стороне. Не позарился бы на городскую, крашеную и пудреную...

Какая там перебежала Варваре дороге, крашеная или некрашеная, но Степан домой больше не вернулся. Сначала высылал деньги и скупые письма, потом только деньги, да и те с переборами.

Случилась самая большая беда, большей быть не может. Казалось, раз так вышло, чего уж дальше бояться — скинь страх, оглянись трезво вокруг. Но напугана жизнью Варвара.

Родька непоседой растёт, день-деньской на реке пропадает. Страшно, вдруг да случится грех — утонет... Сохрани, господь!

Учительница Парасковья Петровна на него жалуется: уроки-де плохо готовит... Страшно, вдруг да вахлак вахлаком вырастет¹. Образумь, господь, непутёвого!

Корова плохо поела — страшно!

Собака ночью на луну выла — страшно!

Поутру дорогу чёрная кошка перебежала — ох, не к добру!

Кругом страсти господни. Нелегко жить. Спаси, Христос, и помилуй от всякой напасти.

Храпит на печи бабка. Заледенел в неподвижности огонек лампадки, едва-едва осветил два серых белка да узкий нос на новой иконе. Разорались уже петухи на воле. Вывернула душу — пора и на боковую: утром вставать рано.

Варвара поднялась с колён. Ступая босыми ногами по узловатым от сучков половицам, прошла к кровати. Там, воткнув в вылинявшую подушку непослушные вихры, спит Родька. Косо упавший свет лунны освещает сомкнутые ресницы, упрямые, от бабки перешедшие скулы, болячку на губе.

«Наказание моё... Ну-ко, святая икона ему явилась... К добру ли? Не случилось бы чего... Второй Пантелеймон-праведник... Чудеса, да и только... Охохонюшки!..» — Варвара сладко зевнула, стала осторожно отодвигать съжившегося под одеялом Родьку.

— Двинься, чадушко. Дай мамке местечко...

5

В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико ни было, — деревня, с церковью — село. В самом же селе Гумнищи церкви не было. Церковь стояла на отдалении, в версте в сторону.

Рассказывают так. Лет сто пятьдесят, а может, и двести,

¹ Вырастет вахлак вахлаком — будет необразованным, неучем.

тому́ назáд нéкий пастушóнок Пантелéймон, гоня́вший дере-вénское ста́до на Ма́шкино болóто, уви́дел там среди́ пней и кóчек икóну Никола́я-уго́дника. Пастушóнок тут же перед ней опусти́лся на колéни и помолíлся о здра́вии боля́щей ма́тери, котóрая вот ужé мно́го лет и зим не слезáла с пéчи. Когда́ он пришёл вéчером домо́й, то уви́дел, что мать, сотворя́я мо-ли́твы, хóдит по́ двору, налáживает завали́вшийся тын. Икóна оказáлась чудотвóрной.

Вряд ли бýло на свято́й Русí тако́е мéсто, где не рожда́лись бы такие бла́гостные, по-дéтски наíвные, похо́жие друг на дру́га легенды. И кáждый раз онí разноси́лись на мно́го вёрст по деревня́м и сёлам, трево́жа вообра́жение, со́весть, вызыва́я наде́жды.

К новоя́вленной икóне, к малознакóмой до тех дней дере́в-не Гумни́щи потянúлся наро́д — пéшие с батожкáми¹ и котóм-ками, на подвóдах с жёнами и дети́шками, на лихачáх с гí-ком и пóсвистом. Кто гра́бил, жу́льничал, беспúтно пьянство-вал, кто жрал толчёную кору́, как о вели́ком сча́стье, мечта́л о кускé хлéба, кто изныва́л от хвóри — все, с грехáми, нуж-до́й, со́бственной гры́жею, поднимáя пыль лаптя́ми, разби́ты-ми в кровь нога́ми, ошино́ванными колёсами, тяну́лись про-си́ть мíлости у чудотвóрной.

Сперва́ среди́ пней и кóчек Ма́шкина болóта была́ вы́строена из свежесру́бленного кондачá часóвенка с тесóвым шпíлем вмéсто лúковицы. Потóм странники и странницы, те, кто восхвалéние бóга и посещéние святы́х мест счита́ли своéй профéссией, а новоя́вление чудотвóрной — уда́чей жízни, по-шли́ по доро́гам Русí с жестяны́ми кру́жками, погромыхивая медякáми, гундо́ся елéйно: «Подáйте, правосла́вные, на храм бóжий!» И правосла́вные раскошéливались...

На Ма́шкином болóте нельзя́ бýло вы́строить дóбрую из-бу́ — переко́сит углы́, нíжние венцы́² уйдúт в тряси́ну. Но ра́-

¹ Б а т о ж к á м и; б а т о ж ó к — пáлка, пóсох.

² В е н ц ы́; в е н é ц — ряд брёвен в сру́бе; сруб. — деревя́нное соору-жение из нéскольких венцо́в брёвен, скреплённых в фóрме четырёхуго́ль-ника.

ди чудотворной, во славу божью, всем миром наносили песку, земли, камней, вымостили болото, среди ляжйн и тряси́н сделали остров. На этом острове подняли вверх сажённой толщи́ны кирпичные стёны, приезжие мастера́ расписали их богородицами, ангелами, Христо́выми ли́ками, на высоту́ птичьего полёта подняли многопудовые колокола́, а ещё выше, над голубыми луковицами, истекая огнём, едва́ не цепляясь за облака́, засияли на солнце золочёные кресты́.

И поднялся посреди́ Ма́шкина болота не для жилья́, не для посидёлок, не для общего веселья́, поднялся на столетия́ па́мятник тёмной ве́ры в несуществующего бо́га, дорогая́ и громоздкая опра́ва для дубовой доски́, не особенно́ искусно покра́шенной красками.

Но́вую це́рковь назва́ли Нико́ла на Моста́х, в честь явлен-ной ико́ны Никола́я-уго́дника и в честь того́, что це́рковь воздвигнута на вы́мощенном рука́ми ве́рующих болоте́.

Счита́лось, что чудотворная исцеля́ет от всех телёсных и духо́вных неду́гов гораздо охотнее, е́сли то́лько перед ней сотвори́т моли́тву не са́м прося́щий, а Пантелёймон, тот пастушо́нок, кото́рый пе́рвым прекло́нился перед ико́ной.

Пантелёймон вско́ре стал че́м-то вроде ме́стного свято́го. Говоря́т, поста́вил себе́ ме́льницу и у́мер в глубо́кой ста́рости пра́ведником. Под село́м на реке́ Пелего́вке есть Пантю́хин о́мут, во́зле кото́рого на берегу́ до сих пор мо́жно ви́деть ка́менную ось́павшуюся кла́дку — оста́тки фунда́мента пантелёймоновской ме́льницы.

За решётчатой огра́дой, под стена́ми це́ркви Нико́лы на Моста́х, одна́ во́зле друго́й ста́ли ложи́ться моги́лки, над сельским погостом зашумели берёзки, ряби́нки, ли́пы; га́лки сви́ли гнёзда под купола́ми. В це́ркви меня́лись по́пы. О́ни крести́ли новорождённых, венча́ли молодых, отпева́ли поко́йников, служи́ли за́утрени, обе́дни, пе́ли «мно́гие ле́та», провозглаша́ли «ана́фему»¹. За́пах ла́дана и атмосфе́ра казе́нной свя́тости оку́жили легенда́рную ико́ну. К ней приви́кли, сла́ва её поути́хла, чудотворность усну́ла, и все́-таки на неё продо́лжали

¹ А н а́ ф е м а — отлучение от це́ркви, прокля́тие.

моли́ться, за мно́гие киломе́тры тащи́лись, чтоб то́лько благоговейно приложи́ться к её ли́ку, зажечь копее́чную свечу́.

В два́дцать девя́том году́, в то вре́мя когда́ вокру́г Гумни́щ создава́лись колхо́зы, послед́ний из попо́в це́ркви Нико́лы на Моста́х был уличён в кула́цкой агита́ции. Его́ самого́ раскула́чили, отпра́вили в Соловкí, а це́рковь как пережиток ста́рого решено́ было́ закры́ть. С вы́сокой колоко́льни, к вели́кому негодовáнию стару́х, стяну́ли верёвками тяжёлый ко́локол. Он, когда́-то буди́вший своим ме́дным ры́ком гумни́щинскую окрúгу, уда́рился в зёмлю и, óхнув в послед́ний раз в своёй жи́зни, развали́лся. Все́ церкóвное имúщество — сере́бряные окла́ды, кади́ла, дарохранíteльницы — конфисковáли, а чудотво́рную ико́ну по предложéнию сёлских комсомо́льцев собира́лись уже́ пересла́ть в краевéдческий музе́й. Но она́ неожíданно исчéзла. На э́тот раз тако́е собы́тие во́все не расцени́ли как чу́до, прóсто реши́ли: кто́-то из ве́рующих стащи́л её из пусто́й це́ркви.

Но до́лго ещё́ вспомина́ли стару́хи ико́ну, рассказывали об огня́х на болóте, о душе́ Пантелéймо́на-пра́ведника над óму́том, о том, что ка́ждую по́лночь в забро́шенной це́ркви кто́-то «пи́лит кúпол» — «йстóво, из мину́тки в мину́тку, ка́ждую ночь перед петухáми...»

С той поры́ прошло́ немáло лет. И вот позабы́тая чудотво́рная ико́на вновь яви́лась под бе́регом реки́ Пелего́вки.

6

Утром Рóдька, как всегда́, собира́лся в шко́лу: завязáл кни́ги и тетра́дки в ста́рый ма́мкин плато́к, надел пионерский га́лстук и, до́лго слюня́вя ладо́ни, разгла́живал мя́тые концы́ на груди́ (вчера́ по́сле шко́лы весь день таска́л его́ скóмканым в карма́не), потóм метну́лся к столу́:

— Дава́й, ба́бушка, есть. Не то опозда́ю.

Ба́бка, вме́сто того́ что́бы проворча́ть обы́чное: «Успе́ешь ещё́ натре́скаться...» — разогну́лась у пéчки, ушла́ за перебо́рку, бы́стро верну́лась, пряча́ что́-то в вы́тянутом кулакé.

— Ну-ко, дитятко...— позвала она.

Родька с подозрением покосился на её осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.

— Вот надень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристом-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шёлковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуты отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи.

— Ещё чего придумала? На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне небось, не бабке Жеребихе чудотворная открылась. И не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька ещё больше съёжился, отступил назад:

— Не надёну.

— Экой ты...— Бабка протянула руку.

Родька отскочил, светлые, с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно.

— Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не надёну! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться тебе перед ними? Каждый всяк по себе живёт, всяк свою душу спасает. Храни себе потаённо и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью, видно, только что с бороньбы или от парников — вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белёсой занавесочкой ресниц — доброты.

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не надевала. На кой мне крест. Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не надевать? Сама знаешь: в школе не похвалят.

Ба́бка разогну́лась, подобрала́ губы, сжа́ла в кори́чневый кула́к крести́к.

— Оберега́ешь всё? Ты ему́ ду́шу обереги́. Гне́в-то бо́жий, чай, пострашн́ее, чем учи́тельша вы́мочку даст.

— Не гне́вался же, мать, госпо́дь на него́ до сих пор. Да́же ми́лостью сво́ей отмéтил.

— Ой, Ва́рька, поду́май: ми́лость э́та не остереже́ние ли? Пока́ Ро́дька ходи́л без отли́чки, ему́ всё проща́лось. А ны́не прóсто срам па́рню креста́ на ше́е не носи́ть.

Мать сдава́лась:

— Пра́во, не зна́ю. Како́й спрос с ма́лого да несмышлѐного?

— Для го́спода что мал, что стар — все ро́вни, все одина́ково рабы́ бо́жьи. Вот сва́лится бедá, запоёшь тогда́ по-дру́гому, вспо́мнишь, что су́щую безде́лицу для бо́га отказáла. Да и что толковáть-то, тьфу! Крест на ше́ю сы́ну повéсить со́вестно.

И мать сдалáсь.

— Надéнь, Ро́денька, крести́к, надéнь, будь у́мницей.

— Сказáл — не надéну.

— Вот бо́г-то уви́дит твоё упря́мство.

— Плева́л я на бо́га ва́шего! Знал бы, э́ту ико́ну и выры́вать из земли́ не стал, я бы её в ре́чку бро́сил!

— Оксти́сь! Оксти́сь, погáнец! — зы́кнула ба́бка. — Типу́н тебе́ на язы́к! Вот оно́, Ва́рька, потакáнье-то...

На щека́х ма́тери вы́ступили лило́вые пята́, широко́ расста́вленные глаза́ су́зились в щёлки, ру́ки подня́лись к груди́, бы́стро перебра́ли па́льцами все пу́говицы на ста́ренькой ко́фте.

— Добро́м тебя́ про́сят. Ну!.. Мать, да́й-ко мне крест. Я-то надéну на не́слуха.

— Нет, пусть он себя́ крестным зна́менем осенит. Нет, пусть он у бо́га прощ́ения по́просит. Пу́сть-ко ска́жет сна́чала: «Прости́, го́споди, мой прегреш́ения».

На стенé, под фотогра́фиями в карто́нных ра́мочках, висéл ста́рый солда́тский реме́нь, оста́вшийся от отца́. Мать сня-

ла его с гвоздя, впи́лась в Родьку прищуренными глазами, устрасяюще переложила ремень из руки в руку.

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперёд белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, насторожённо блестящими глазами, Родька тихо-тихо пододвигался к двери, навёртывал на палец конец красного галстука.

— Прав... прав не имёете.

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь умничек...

— Вот я в школе скажу всё...

— Пусть-ко сунутся — я учителям твоим глаза все повыцарапаю. Небось не ихнее дело. Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабушку, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дернула за вихры. — Крестись, пащенок!

— Скажу вот всем! Скажу! Ой!..

Удар ремня пришёлся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно, басом взревел, рванул к двери, но бабушка с непривычной для неё резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо.

— Ишь ты, лукавый. Нет, милёнок, нет, встань-ко вот сюда!

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слёзы.

— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову, вражонок. Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь ещё упрямиться, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слёзы рукавом чистой, надётой для школы рубашки; его правое ухо



— Прав... прав не имéете.

пламенéло, казáлось тяжёлым, как нáлитый крóвью петуши́-
ный грéбень.

— Оста́вь его́, Ва́рька,— заяв́ила ба́бка.— Не хо́чет, как
знаёт. А есть не полу́чит и в шко́лу не пойдёт. Сказáли тебе́,
ски́дывай сапоги́!

Ро́дька молча́л, продолжа́я всхли́пывать, уперши́сь глаза́-
ми в пол.

— Добро́м же тебя́ про́сят... О-о, го́споди! — с отча́янием
воскли́кнула мать.— Про́сят же, про́ся-ат! До́лго ль торча́ть
над тобо́й, йдол ты, наказáние бесóво!

По-пре́жнему уперши́сь в пол взглядом, Ро́дька несме́ло
по́днял ру́ку, дотро́нулся шепóтью до лба, стыдливо́ и неуме́-
ло перекрест́ился.

— Чего́ сказа́ть на́до?

— Прос... прости́... го́спо-ди...

— То́лько-то и прос́или!

— Когда́ лоб крэ́стят, в пол не глядя́т,— сурóво попра́ви-
ла ба́бка.— Ну́-кася, на святу́ю ико́ну перекрест́ись. Ещё́ раз,
ещё́! Не бо́йся, рука́ не отсо́хнет.

Ро́дька по́днял глаза́ на у́гол и уви́дел сквозь слёзы серд́-
тые белки́, уста́вившиеся на него́ с тёмной доски́.

7

А на у́лице с огоро́дов па́хло вско́панной землёй. Со́лнце
облива́ло просóхшие тесóвые крýши. Сквозь жёлтую́ прошло-
го́днюю траву́ проб́ились на свет не́жные, казáлось бы, бес-
по́мощные зелёные стрéлки и смóрщенные листóчки.

Зрэ́лая порá весны́. Че́рез неде́лю лю́ди приви́кнут к при-
пека́ющему со́лнышку, к я́ркой зéлени, поя́вится пыль на до-
ро́гах. Че́рез неде́лю, че́рез полторы́ от си́лы весна́ перевáлит
на ле́то... Ско́лько ма́леньких ра́достей сули́т э́тот я́сный день!

По́сле уро́ков мо́жно убежа́ть в луга́. Там от разли́ва оста́-
лись озёрца-ляжи́ны с насто́явшейся на прéли водо́й, тёмной,
как крэ́пкий чай. Мо́жно вы́ловить матеру́ю, перезимова́в-
шую лягу́шку, привяза́ть к её ла́пке нитку, пусти́ть в озерцо́,
гля́дя, как уходи́т она́, обра́довавшаяся свобóде, вглубь, во

мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушечью икру, пересчитать чёрные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колёсные колеи в низинах, залитые после половодья и ещё не высохшие?.. В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые головастики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки¹; замути воду — и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжёт кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменах, помни — если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубашка: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но всё равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабушка с матерью выдумают?

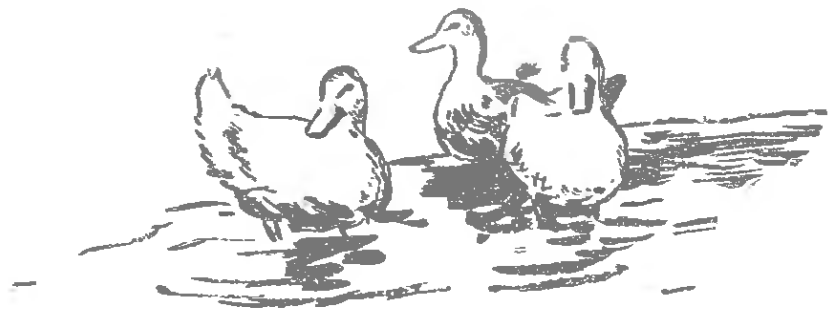
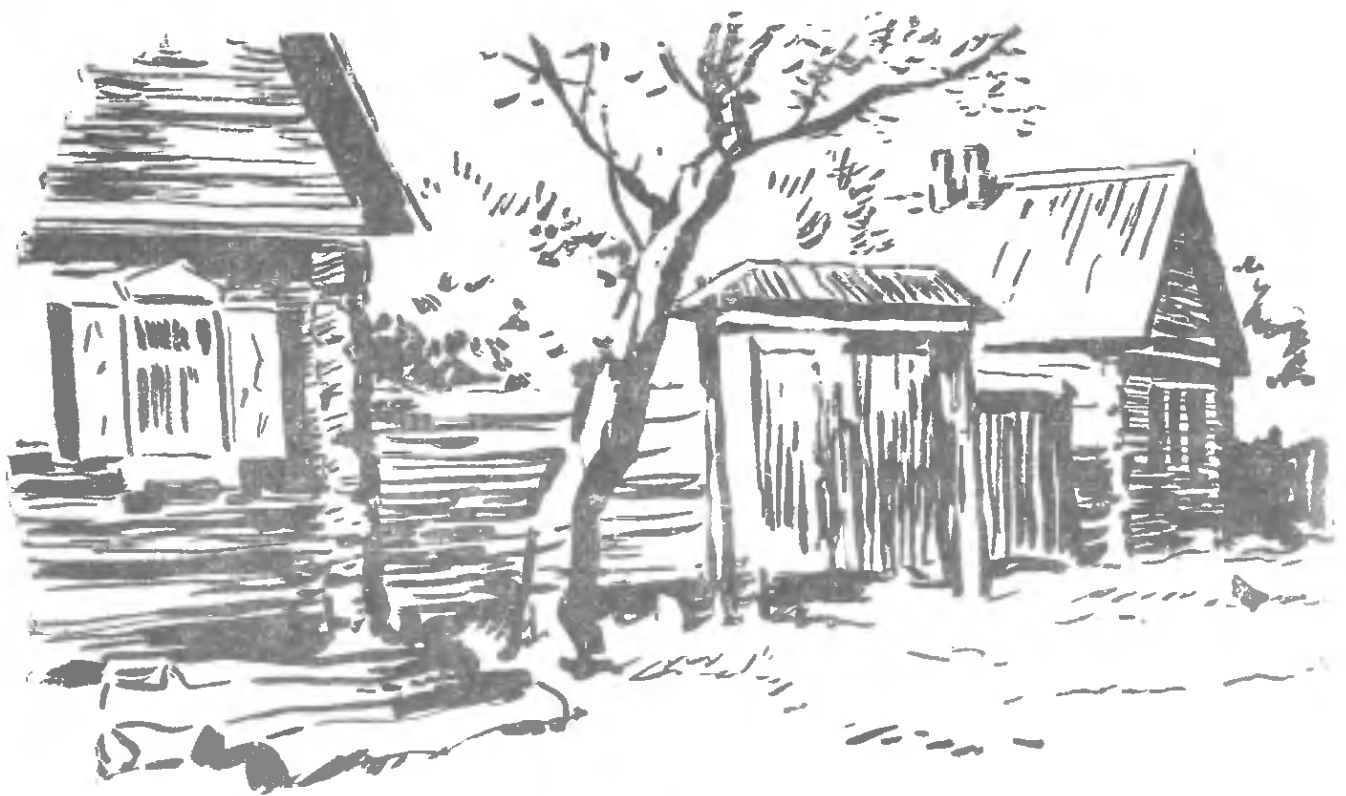
На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман... Бросить нельзя. После школы бабушка уж обязательно заглянет под рубашку. Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги. В карман?.. А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой.

Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабушкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстёгивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затёртым пиджаком у него

¹ Сорожка — рыба; местное название плотвы.



но́вая рубáха, я́ркая, канаре́чного цвѣта, с друго́й не спúта-
ешь. Да́же га́лстук, мно́го раз сти́ранный, вы́линявший, блед-
не́й её.

Ва́ська окли́кнул:

— Эй, Ро́дька! Ско́лько вре́мени сейча́с? У нас хо́дики тре́-
тий день сто́ят. В шко́лу-то ещё не опозда́ли?

Подоше́л, поздоро́вался за́ руку.

— Ты каку́ю-то ико́ну нашёл? Стару́хи за э́то тебе́ клáняться
бу́дут. Пра́во сло́во, мать говори́ла.

Ро́дька, отверну́вшись, ловя́ под га́лстукoм непослу́шные
пу́говицы, пря́ча покрасне́вшее от стыда́ лицо́, зло отве́тил:

— Ты слúшай бо́льше ба́бью брехню́.

— Так ты не нашёл ико́ну? Врут, зна́чит.



— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — Но на всякий случай Васька отодвинулся подальше.

Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженной голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-желтой рубашкой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он проницателен, всё всегда узнаёт первым. Весь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорочкой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом, до самой школы не обронил ни слова.

О кресте Родька скоро забыл. На переменах устраивал кучу малу, лазал на берёзу «щупать» галочки яйца...

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю беспокойными стайками разлетелись ребята в разные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабушка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнёт расспрашивать об иконе, пропади она пропадом, ему бы найти такое счастье...»

На окраине пустыря Родька увидел старого Стёпу Казачка. Тот стоял, сунув одну руку в карман заляпанных штанов, другой щипал жидкую — десяток оловянного цвета волосков — бородку.

Когда Родька приблизился, Стёпа Казачок почему-то смутился, поправил на голове рыжую кепку с тяжёлым, словно непропечённая оладья, козырьком, неуверенно переступил с ноги на ногу.

— Родя... Сынóк, ты тогó...

Васька Орехов, рассказывавший Родьке, как председатель колхоза Иван Макарович учил бригадира Фёдора объезжать жеребца Шарáпа, замолчав, наострив уши, установился на старика Степáна. Тот недовольно на него покосился.

— Родька, ты, брат, вот что... Я тебе тут, на-кося, гостинец приберёг...

Степáн Казачок с готовностью вытащил из кармана захватанный бумажный кулёк.

— Берй, брат, берй... Тут это — конфеты, сладь... Доброму человеку разве жалко. На трёшницу купил.

Заскоружлая рука протянула кулёк. Родька багрово вспыхнул. Он не понимал, почему дают ему конфеты, но чувствовал — неспроста. Замусóленный бумажный кулёк, икона, которую он нашёл под берегом, крест на шее, бабушкино домо-

гание¹ крестить лоб — всё, должно быть, связано в один таинственный узелок. Он сердито отвернулся.

— Что я, побирушка какой? Сам ешь.

— Да ты не сердчай, я тебе от души... Экой ты, право... — На тёмном, с дымной бородкой и спечёнными губами лице Стёпы Казачка выразилась жалкая растерянность.

— Раз даёшь, Родька, чего отказываешься? — заступился за Казачка Васька.

— Ты-то чего пристал? — цыкнул Родька.

— Верно, братец, верно, — обрадованно поддержал дед Степан. — Иди-ко ты, молодец, своей дорогой, не встречай в чужие дела. Иди с богом. — Он снова повернулся к Родьке. — Мне бы, родной человек, парочку словечек сказать тебе надо.

— Больно мне нужно, — презрительно фыркнул Васька. — На ваши конфеты небось не позарюсь².

Он пошёл вперёд, независимо сунув руки в карманы, покачивая узкими плечами, но стриженный затылок, острые, торчащие в стороны уши выдавали и обиду и любопытство: Ваське всей душой хотелось послушать, о чём это будет толковать старик Казачок с Родькой.

— Не обижал бы, взял, а?.. Сам знаешь, не красно живу. Уж какая моя жизнь теперь! — Вздыхая, старик мял нерешительно в руке кулёк. — Моя жизнь теперь такая, что помереть от тоски легче. Нутро болит, тяжёлого подымать не могу, потому и в сторожа определился. Ведь я бабки-то твоей на три года, почитай, старше... Сына вот вырастил, дочь выдал за хорошего человека, в Кинешме теперь живёт. Всё бы хорошо, да одному-то, вишь, муторно³.

Родька слушал, и ему становилось не по себе. Как ни повернись, всё непонятное! Ну разве стал бы раньше этот Степа Казачок так с ним разговаривать, жаловаться, как взрослому? Что такое?

¹ Домоганне; домогаться — усиленно добиваться, назойливо и упорно просить.

² Не позарюсь — не соблазнюсь, не захочу.

³ Муторно — тревожно, тоскливо.

— Не пожа́люсь, врёде и помога́ют отцу́, то сын де́ньги вы́шет, то до́чка посы́лочку. То́лько, ох, ску́шно одному́ кукова́ть. Тоска́ поедо́м ест... Дочь, коне́чно, ломо́ть отрезанный. Вот сы́на б хоте́лось обрат́но. Он па́рень холостой, ха́ракте́ром мя́гкий, верну́ть бы его́ домо́й. Лю́бо, ми́ло — жени́лся, меня́ приголу́бил...¹

— Я-то тут при чём, дед Степа́н?

— У тебя́, мило́к, душа́ что стёклышко. Тебе́ от бо́га си́ла дана́. Да что, пра́во, ты моём пода́рочком гнуша́ешься? Возьми́, не обижа́й, ра́ди Христа́... Ты, па́рень, помоги́ мне, век бу́ду благода́рен.

— Да при чём я-то?

— Не серча́й, не серча́й... Помолы́сь ты перед чудотво́рной, попроси́ за меня́ перед ней, пуска́й Никола́й-уго́дник на ум наста́вит раба́ бо́жьего Па́вла, э́то сы́на-то моего́. Пусть бы домо́й верну́лся. Моя́ моли́тва не дохо́дит: многогрёшен. А от твоего́ сло́ва святы́е уго́дники не отверну́тся, твоё-то сло́во до самого́ бо́га донесу́т, ты на приме́те у го́спода-то... Чай, слы́хал про о́трока-то Пантелёймона. Пра́ведный челове́к был... Да конфётки-то, со́кол, сунь в карма́н, ко́ли сейча́с к ним ду́ша не лежи́т...

Со́лнце све́тит в зелёной лу́же посреди́ доро́ги. К до́му бригади́ра Фёдора подъе́хал тра́ктор, напусти́л голубо́го ча́ду, распуга́л лени́вых гусе́й, за́болнил у́лицу судоро́жным трёском мото́ра. Круго́м приви́чное село́, приви́чная жизнь. И никогда́ ещё не́ было, чтоб в э́том приви́чном ми́ре случáлись такие непоня́тные ве́щи: расстро́енное, жа́лостливо морга́ющее краси́выми ве́ками лицо́ де́да Казачка́, его́ разгово́р, сло́вно Родька ему́ ро́вня в годáх, его́ непоня́тная, за́скивающая про́сьба, э́тот кулёк... Да что случы́лось на све́те? Не соше́л ли с ума́ ста́рый Казачо́к? Мо́жет, он, Родька, свихну́лся?..

Родька оттолкну́л ру́ку старика́, бро́сился бежа́ть.

Не добега́я до́ дому, он огляну́лся: дед Казачо́к сто́ял посреди́ у́лицы — карту́з с тяжёлым козы́рько́м натя́нут на гла-

¹ Приголу́бил — приласка́л.

за, редкая борода вскинута вверх, во всей тощей фигурке со сползшими штанами растерянность и огорчение. Родьке, непонятно почему, стало жаль старика.

9

У Родькиного дома, на втопанном в землю крыльчке, сидели двое: маленькая, с острым, чем-то смахивающим на болотную птицу, лицом старушка и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярков — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем¹ при сельпо, незамысловато играл на трехрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калёкой, но, кроме него, никто не бахвализился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило: жалели калёку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком:

— Отрекусь, нечистый!

Последнее время безногий Киндя вообще утихомирился, пил по-прежнему, но не буйнил, торговал из-под полы на базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквям,

¹ Бондарь — ремесленник, делающий бочки.

то в щелкѣновскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров в соседний район, в Ухтомы.

Об этих делах безногого Кинди, как и все ребяташки, Родька был слышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжёлом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечиками мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отёкшие от сидения ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У неё был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно высккивающие вперёд лица глазки. Сморщенная, тёмная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ко, покажись, любый! — Голос её, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч.— Да чего рвёшься, не укушю... Вот, значит, ты какой! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелёймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благодати...— Она обернулась к своему кланяющемуся сыну.— Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусты, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, он успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приотбившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:

— Лицо что-то бледненько. Видать, напужали эти оканные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребихи, Родька увидел ещё двоих — Мякишева с женой.

Сам Мякишев — кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младёнский пушок; окропленное весёлыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях, числился в активистах. Жил он около магазина в большой пятистенной избе под зелёной железной крышей.

Уполномоченные, приезжавшие из района, часто оставались на ночь у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и всё-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».

Увидев у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось: вот-вот выскочит из своего просторного, с жеваными лацканами пиджака; не только щеки, даже уши его двинулись от улыбки.

Беременная жена Мякишева уставилась на Родьку выкаченными чёрными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина, — с досадой проговорила Родькина бабка, — что толку волю слезам давать. Бог даст, всё образуется. Родись ещё, как все бабы. Мало ли докторов ошибаются!

Заметив слёзы у жены, Мякишев сконфуженно заёрзал, забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю. — Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке. — Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашёл?..

Родька, напуганный разговором с Казачком, ошеломлённый встречей с безногим Киндей, затравленно озирался. С ума все походили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришёл. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..

Вручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголода́лся небóсь, вну́ченька? Вот яйшенку тебе стотóвлю... Чтó-то ма́тери твоёй до́лго нéту? Пора́-то обе́денная... Всё в колхóзе да в колхóзе, от до́му отб́илась.

Пока́ ба́бка ору́довала у шестка́, жа́рила на нащ́ипанной лучи́не яйчницу, Рóдька, слóвно свя́занный, сидёл у окна́, ко́сил гла́зом на у́лицу.

Жена́ Мякишева т́ихо пла́кала, утира́ла слёзы скóмканым платóчком. Сам же Мякишев с ќисленькой, виновáтой улы́бкой прос́ительным теноркóм опра́вдывался:

— Я так счита́ю: оттогó и непорядки в жи́зни, что лю́ди от рели́гии отступ́ились. А без ве́ры в душе́ никак нельзя́ жить.

— Истинно. Забы́ли бо́га все, забы́ли. По грехáм нáшим и напáсти,— скрóмненько подд́акивала со стороны́ Жереб́иха.

— Ве́ра-то ны́нче врóде клейма́ какóго. Меня́ взять в примёр... Мне бы не днём полага́лось прийти́ к вам, а но́чью, потаённо, чтоб ни одна́ живáя душа́ не ви́дела. Человéк я на примéте, вдруг да потя́нут, обсу́ждать начн́ут, кóсточки перетира́ть. Легко́ ли терпéть...

— Ничегó, за бо́га и потерпéть мóжно,— отозвала́сь от шестка́ ба́бка.

— Та́к-то так,— не совсём увéренно согласи́лся Мякишев.— То́лько чегó зря нарыва́ться. Уж прош́у, до́брые лю́ди, ли́шка-то не трепли́те языко́м, чтó-де я сам жену́ приводи́л.

Запóлнив избу́ аппети́тным за́пахом, ба́бка с грóхотом поста́вила на стол сковороду́, приглас́ила Рóдьку:

— Сад́ись, зóлотце, ешь на до́брое здоро́вье.— И, поверну́вшись к гостя́м, ста́ла расхв́аливать:— Он у нас не како́й-нибудь нéслух,— чтоб лба не перекрест́ил, за стол не сядет. Помоли́сь, ча́душко, го́споду.

Ба́бка мёльком скользну́ла взгля́дом. Рóдька лишь на секунду уви́дел её жёлтые, в напряжéнно собрáвшихся морщи́нах глаза́, но и этóго бы́ло достáточно, чтоб понять: ослу́шаешься — не б́удет прощ́ения.

— Ну, чегó мнёшься, со́кол? Сад́ись за стол, коль про́сят. Ну... сад́ись да бо́га помни.

Пра́вая рука́ Рóдьки, тяжёлая, негну́щаяся, с деревя́нным непослуша́нием подня́лась ко лбу. За его́ спиной, грóмко всхли́пнув, запричита́ла Мя́кишиха:

— Рóдненький мой, помолісь за меня́, грéшницу. По гроб ж́изни благодаріть б́уду...

Рóдька съёжился...

10

Никогда́ ещё так не ра́довало сінее не́бо, несме́лый ветро́к с лугов. Вы́рвался из дому, от ба́бки, от Жереби́хи, от Мя́кишихи, от безно́гого Ќинди — подáльше от села́! На́те вам всем, ищ́ите ветра в по́ле!

За уса́дьями запыхáвшийся Рóдька поше́л ме́дленнее.

Те́плый ры́жий весéнный луг лежа́л под со́лнцем. Масля́нисто-чёрная доро́га, выпля́сывая по холма́м, бегáла к ле́су. Лес, пока́ холо́дный, лило́вый, то там, то сям кра́плен мо́крыми семе́йками те́мных э́лей. Он ско́ро прогре́ется, на́глухо за́тянется листьво́й, из его́ глубины́ поплыву́т уны́ло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не ве́рит Рóдька, что всё измен́илось. Ма́ло ли чего́ не случáется до́ма. День, друго́й — и всё пойдёт о́пять так, как шло прéжде. На́до немно́го потерпе́ть и побóльше д́умать о друго́м, приятном...

На днях в клубе пока́жут но́вую кинокарти́ну. Афи́ши уже раскле́ены: па́рень в красноарме́йской ша́пке вре́мен гражда́нской войны́, позади́ него́ дым и о́гонь от пожа́ров, ска́чут лю́ди на лоша́дях с ша́шками. Это кино́ о Па́вке Корча́гине. Рóдька зна́ет, что про него́ написа́на це́лая кни́га. Ва́ська Орéхов зимо́й взял её в библиоте́ке и дал Рóдьке то́лько на три дня. Ра́зве за три дня успе́ешь прочита́ть до конца́, когда́ кни́га-то то́лще учебника? Са́м-то Ва́ська «Робинзо́на Кру́зо» це́лую неде́лю у себя́ держáл. Рóдьке из-за него́ от библиоте́карши попáло... Ма́ть всегда́ даёт де́ньги на кино́ и те́перь не отка́жет. Это у ба́бки пятачка́ не вы́просишь...

Ско́ро экза́мены. Ка́ждый год по́сле экза́менов в шко́ле бывáет ве́чер самоде́ятельности. К нему́ давно́ уже на́чали

готовиться. Всё село приходит смотреть. Юрка Грачёв из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнёт рассказывать — хватайся за животики.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...» Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придёт председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы.

Пусть дома икону обхаживают, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придётся не век. День, другой — глядишь, всё утрясётся.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-жёлтой рубашке, ясным пятнышком горевшей среди однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов и Венька Лупцов — вечная компания. Не успев задуматься, что же они там затеяли, Родька без дороги, ломая остатки прошлогóдного репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубаш, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.

— Ах, вот оно что, купаться надумали!

В реке вода ещё мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, — купаться нельзя. Зато высыхающие луговые

озѣрца, оставшіеся после половодья, уже прогреты солнцем.

— Э-э-эй! — закричал Родька. — Чёрти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнёт? Васька Орехов в своей канареечной рубаше, но без штанов смущённо стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым колёнкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.

— Топчетесь? Небось мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый, — ответил Венька.

— Эх!

Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубашу, сел на землю, принялся с усилием снимать с ног мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьки чёрными, насторожённо заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивлённо, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, жёлтое, под цвет Васькиной рубашки.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов,



стоявший всё ещё с открытым ртом, в одной рубáхе, без штáнов, взглянул в Рóдькино лицо, зáйцем прыгнул в стóрону. Рóдька уви́дел, как вы́тянулась подвижная Вéнькина физионо́мия, как в чёрных глазах заметáлась какáя-то й́скорка. Вéнька не успéл подня́ться. Рóдька удáрил его́ с разма́ху прýмо в испуганные чёрные глаза́.

— За что? — крикнул тот, па́дая на́ спину.

Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, пугаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вырвавшись из рук Пашки, Родька, не поднимая головы, как-то странно горбятся, подхватил с земли свой пиджак и рубашку, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озерца, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шёлковый шнурочек у медного крестика был прорван. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону.

11

До сих пор мир для него делился на три части: дом, улица, школа.

Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.

На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют.

А школа?.. Ведь и в школе всё будет известно!

Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.

Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов. Ему было хорошо видно всё село: тёмные тесовые крыши, железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».

В стороне от села церковь. Она древнее этих домиков под

тесовыми и железными крышами, но издали не видно, чтоб старость обезобразила её: белые стены тепло сияют на закате, ржавые купола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную тёмную массу. В залитых сумерками ложбинках лёг синий мутный туман. И наконец темнота совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно — не устрожишь, когда появляются, — затеплились огоньки. Долго ещё упрямилась церковь, долго сквозь ночь белели неясным пятном её стены.

Сыростью потянуло от реки, стало холодно в одном пиджаке. Очень хотелось есть. За спиной плескалась река, сейчас чёрная, чернее и бездоннее неба. Луг, знакомый днём до последней кочки, сейчас казался глухим и диким местом. С него доносились какие-то непонятные звуки: что-то хлопнуло, что-то зашуршало, кто-то вдалеке ожесточённо забился, может быть, птица, устраивающаяся на ночь, а может, что-то другое, не имеющее ни названия, ни лица, никому из обычных людей не знакомое. Даже ручей, всё время ровно шумевший вдалеке, теперь, с темнотой, заворчал как-то зловеще. Даже кусты, в которых прятался Родька, тощие, обвешанные после половодья лохмотьями грязи, кажутся страшными. Невольно ждёшь: вдруг да в тёмном провале под ближайшим кустом вспыхнут глаза то ли зверя, то ли сказочной птицы, жёлтые, холодные, как две маленькие луны! Веришь каждой сумасшедшей мысли, вздрагиваешь от каждого шороха. Нельзя здесь оставаться!..

Как бы то ни было, а среди этой тёмной, сырой ночи самое близкое и самое родное — огоньки села. Пусть там живут люди, которым стыдно показаться на глаза. Пусть неуютен дом, сердитая бабка будет проверять, цел ли крест на шее. Пусть. Всё равно деваться некуда, надо идти...

«Завтра утром сбежy... Переночую и сбежy. Так и скажy мамке, коли за крест бить бyдет»,— решил Родька и поднялся на онемевшие ноги.

Чем ближе он подходил к дому, тем острее чувствовал: ужасен был день, и конец его должен быть ужасным. Сейчас всё кончится...

Когда Родька взялся горячеей, влажной рукой за холодную скобу двери, на секунду остановилось сердце.

Но всё обошлось просто. Опять в избе было полно гостей. Кроме знакомых — Жеребихи, бабки Секлетей, толстой Агнии Ручкиной,— сидело несколько не известных Родьке человек. Сухощавый, с хрящеватым кривым носом старик читал вслух очень толстую, с желтыми листьями книгу.

Все старательно слушали, сопели, но по лицу каждого было видно: ничего не понимают.

Мать, боясь спугнуть слабенький и ломкий голос старика, осторожно поднялась с лавки, подошла к Родьке, проворчала шепотом:

— Ты бы к утру ещё приходил, полуношник! Иди-ко в горницу, поешь, там молоко стоит. Завтра опять в школу опоздаешь.

От обычного ворчливого голоса матери свалился с души тяжёлый груз.

На этот раз Родьку не виташили к гостям. Лежа на своей постели, он, засыпая, слышал разговор за перегородкой.

— Надо в район идти, просить, чтоб церковь открывали.

— Жди, откроют!

— А мы миром попросим!

— Да велик ли наш мир-то? Кто помоложе, тем плевать на святые дела. Даже Мякишев и тот слово не замолвит. Богу молится да оглядывается, как бы кто не заметил.

Родька не дослушал этот нешумный спор, уснул. И сон его был тревожен. Мать, спавшая с ним рядом, часто просыпалась от его жалобных выкриков, поправляла одеяло, говорила с тревогой:

— Неладное чтой-то с парнем.

А утро началось для Родьки с удач.

Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.

Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнивший пол и бабка всё утро возилась — выгребала навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед завтраком не перекрестил лба.

На улице звонко лаляли собаки, на унавóженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, а с окраины села, со стороны скóтных двóров, где обшивали тесом новое здание сепарáторки, доносился захлёбывающийся, свирéпо-востóрженный вой цёркульной пилы, распáрывающей из концá в концé соснóвое бревнó.

Вчера вóчером Родька считáл, что произошлó непоправимое — нельзя бóльше жить дóма, нельзя показываться на улицу, нельзя ходить в шкóлу. Вчера вóчером твёрдо решил: сунуть в кармáн кусóк хлеба, спрятать учебники под крыльцó и... бежать из села. Сначала в Загáрье, а там бóдет видно...

И вот он стоит, жмúрится на солнце, слúшает хвастливое кудáхтанье сосéдской несúшки¹ — учебники в руке, ржанáя горбушка оттопыривает кармáн — и чувствует, что не так уж всё страшно: ну, бабка за потерянный крест поколóтит — мáло ли случáлось от неё хватáть плюх, — ну, ребята бóдут смеяться, да и то, пúсть-ка попробуют. Стóит ли из-за пустякóв бежать из дому, рáзве плóхо емú жилóсь рáньше?..

Родька решительно зашагáл к шкóле.

Воробьи с каким-то особенным весéнным журчáнием брызнули из-под сáмых ног. Петúх бабки Жеребихи, с кровавыйстым грéбнем, свалившимся на оди́н глаз, ослепляюще-рыжий — ни дать ни взять кусóк горячего солнышка на огороде, — нáгло заорáл вслед воробьям, весь вытянулся от негодовáния. «Ну чегó, дура́к, ты-то лéзешь? Знай своё дéло!»

¹ Несúшка — курица, котóрая несёт яйца.

Комок сырой земли полетел в петуха, тот сконфуженно ступался.

Плевать на бабку, плевать на ребят, всё образуется, всё пойдёт по-прежнему!

Но тут Родька увидел обтянутую лямочкой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющуюся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоёт умильным голоском: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустив голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше.

А навстречу озабоченной походкой враскачку — руки в карманах, заветная для Родьки флотская фуражка с лакированным козырьком на затылке, в зубах жеваная сигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже всё знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живёт!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-кто, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угонники тебя старухи записали?.. Идёт Иван Макарович, что ни шаг, то ближе, никуда не свернёшь, никуда не сбежишь. Родька изо всей силы пригнул голову, лишь бы не увидел председатель лицо, только бы не остановил. Вот его тяжёлые сапоги, вдавливающие каблук в землю, вот слышен даже шорох одежды — сейчас остановит... Уф! Прошёл мимо, обдав чуть внятным запахом махорочного дымка. Родька с благодарностью оглянулся на широкую председательскую спину.

Но тут же он заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.

И когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идёт в школу, а там, прячась не прячась, они все — Пашка, Васька и Венька — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься...

Рёжущим глаза́ со́лнцем за́лита широ́кая некази́стая¹ у́лица села́. Чей-то же́нский го́лос на уса́дьях, за дома́ми, кричи́т:

— Ива́н! Ива́н! Иль о́пять мне за ло́шадью к председа́телю иди́ти, дешёвая тво́я ду́ша? Навяза́ли у́вальня на мою́ го́лову!

У всех свои́ дела́, у всех своё ме́сто. Ме́сто есть да́же у ста́рого, криво́го на оди́н глаз пса Дубка́: лежи́т на доро́ге, делови́то выку́сывает блох из клочковато́й ше́рсти.

За что тако́е несча́стье? Что он сде́лал плохóго? Не ворова́л, не бил стёкол в дома́х, не руга́лся худы́ми слова́ми. За то, что нашёл под бе́регом ико́ну? Будь она́ про́клята! Эх, знать бы наперёд!..

Втяну́в го́лову в по́днятые плéчи, согну́в спи́ну, вяло́й похóдкой шёл ошеломлённый не совсем ещё понятным ему́ несча́стьем Рóдька, двенадцатилётный мальчи́шка, кото́рому приходи́тся боя́ться людско́го осужде́ния.

13

— Гуля́ев!

Рóдька, как от удара, рывко́м оберну́лся. Тяжёлой мужско́й по́ступью подходи́ла Параско́вья Петро́вна, учи́тельница ру́сского языка́, Рóдькина клáссная руководи́тельница. Медли́тельная, немно́го грузновáтая, одéтая в вяза́нный жаке́т с обвисшими карма́нами, лицо́ кру́глое, плóское, загорéлое — и́стинно ба́бье деревéнское лицо́, — прибли́зилась, и под её при́стальным взгля́дом Рóдька поспéшно наклони́л го́лову.

— До уро́ков зайдём-ка в учи́тельскую.

Мину́ту наза́д ещё мо́жно бы́ло реши́ться забро́сить кни́ги, поверну́ть в сто́рону, бежа́ть. Тепéрь по́здно: рука́ Параско́вьи Петро́вны легла́ на плечо́.

От простóрной учи́тельской отделена́ перегоро́дкой кро́шечная ко́мнатка. В ней стои́т горба́тый дива́н, обтя́нутый

¹ Не ка зи ст а я — некраси́вая, невзра́чная.

блестящей чёрной клеёнкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещания¹, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение.

В этот кабинет, поживаясь в нервном ознобе, вошёл Родька и уселся на вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казённый холодок чёрной клеёнки.

Парасковья Петровна подперла щеку кулаком.

— Опять рукам волю даёшь? За что Лупцова ударил?

Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеёнке.

— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил.

Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точёной, как крылёчная балясина²: сейчас заговорит о кресте.

— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Парасковьи Петровны дойдёт? Так?.. Обидно мне, братец.

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Удивляешься? И удивляться нечего; обидно мне, что мой ученик боится ко мне прийти и рассказать всё. Ведь, наверно, нелегко было?

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Это бабка тебе то украшение надела?

— Он меня в школу не пускали,— наконец выдавил из себя Родька.

— Значит, и мать тоже?

— Также...

Парасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошла из угла в угол. Объёмистая, в вылинявшем

¹ Увещания; увещать, увещать — уговаривать, убеждать.

² Балясина — точёный столбик перил.

жакёте, она́ среди́ всей обстановки — письменного стола́, дивана́, жиденького сту́ла, приставленного к стене́,— казалась неуклюжей, случайной, грубой, человеком, которому́ место где-то вóзле скóтного двора́, на по́ле, а не в тесном кабинетё. Рóдка же, следивший за ней исподлóбья, ви́дел то́лько одно́: Параскóвья Петро́вна се́рдится, но, ка́жется, не на него́.

— Креститься заставля́ли? — спросила́ Параскóвья Петро́вна.

— Заставля́ли.

— А ты не хотёл?

— Не хотёл... За стол не пуска́ли.

— Так.

Сно́ва нёсколько тяжёлых шаго́в из одногó угла́ в друго́й.

— Ла́дно, Рóдя, ула́дим. Я погово́рю с твоёй ма́терью. Сегодня́ же... Вот два уро́ка проведу́ и схожу́ к вам.

Подошла́ вплотную́, взъерóшила ладо́нюю сухие, упря́мые во́лосы на Рóдкиной голове́.

— Все́ ула́дим. То́лько, бра́тец, бо́льше кулаки́ не распуска́й. С Лупцо́вым на́до помири́ться. Вот мы его́ сейча́с сюда́ вы́зовем.

Че́рез пять мину́т в дверь бочко́м вошёл Вёнька Лупцо́в, срáзу же отверну́лся от Рóдки. Нос у него́ распу́хший, краси́вый, выраже́ние лица́ оскорблённо-по́стное.

— Гуля́ев хо́чет извини́ться перед тобо́й,— объявила́ Параскóвья Петро́вна.— Пода́йте друг дру́гу ру́ки, и забудем́ это́ некраси́вое де́ло... Ну, что, Родио́н, сиди́шь? Встань... Бы́стро, бы́стро. Сейча́с звоно́к подадут...

Вёнька и Рóдка вме́сте вы́шли из учи́тельской. В коридóре, по пу́ти к своему́ кла́ссу, пряча́ глаза́ друг от дру́га, накоротке́ переругну́лись.

— Зара́за ты! Дра́ться полёз! Чего́ я тебе́ сде́лал?

— А ты я́бедничать срáзу! Мне Фёдька Со́мов по́мнишь как съезди́л! Я ни словёчка́ никому́ не сказа́л.

— И я бы не говори́л, да нос ши́рко распу́х. Параскóвья Петро́вна сама́ дозна́лась...

Такая́ перебра́нка то́лько укрепля́ла примирёние.

Тридцать лет Парасковья Петровна учила гумнищинских ребятшек. Жила, казалось, ровной, без взлётов и падений жизнью: изо дня в день топтала тропинку от крыльца своего дома до школы, из года в год в определённый день повторяла то, что в тот же день, в тот же час говорила другим поколениям. И так тридцать лет! Время она измеряла своими собственными событиями:

— Когда это было?.. Ах да, помню! В тот год я измучилась с Гришей Скундиным. В семье у него было плохо, хотел бросить учиться. Способный мальчик.

А сам «способный мальчик» Гриша Скундин, ныне врач или инженер, почтенный семьянин, живущий где-то за сотни километров от села Гумнищи, наверняка давным-давно забыл свою маленькую трагедию, да и, бог знает, вспоминает ли самое Парасковью Петровну, которой обязан тем, что не бросил школу, пошёл учиться дальше, нашёл свою судьбу.

Всё прошлое, все тридцать лет работы заполнены удачами и неудачами, радостями и горем детей, которых учила Парасковья Петровна.

Когда она окликнула Родьку, увидела его испуганный, затравленный взгляд, то по своему многолетнему опыту поняла: случилась беда, одна из тех, которую не впервые придётся распутывать ей, учительнице Гумнищенской неполной средней школы.

Во дворе дома Гуляевых стояла распряжённая лошадь, разрывала мордой сено в пролётке. Почувя приближение Парасковьи Петровны, она подняла свою маленькую красивую голову с белой проточиной от чёлки к носу.

«Кто ж приехал? Не Степан ли?..» Родькин отец, Степан Гуляев, как и большинство гумнищинцев, был одним из учеников Парасковьи Петровны.

Но тот, кто сидел в избе и вежливо ответил на приветствие, вовсе не походил на Степана Гуляева.

Гость был преклонного возраста. Круглое, рыхловатое ли-

цо заканчивалось мягкой, седой, до лёгкой голубизны чистой бородкой. Словно чужие на этом рыхлом лице, вылезали из-под жидких усов полные, с чувственным рисунком губы. Возле высокого лба росла тощая поросль, зато с затылка и с шеи седые волосы спадали на воротник грубого и добротного пиджака давно не стриженными космами. А в общем, незнакомец напоминал сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от скуки деревенской жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом.

Старая Грачиха, беседовавшая с гостем, спросила:

— Что там, матушка Парасковья Петровна? Ай опять наш сорванец набедокурил?

— У него-то всё в порядке.

Морщинки у коричневых век собрались гуще, жёлтые глаза старухи из прищуря взглянули с подозрением.

— Не без дела же, чай, зашла? Других делов, кроме Родькиных, промеж нами вроде не водится.

— Где Варвара?

— Где ей быть, на работе. Жди, коли хочется.

— Подожди.

На скуластом лице старухи выразилась откровенная досада. Гость сидел, слегка склонив на одно плечо свою крупную голову, не в пример бабке доброжелательно поглядывая на учительницу. С минуты стояла тишина: под печкой слышался мышинный шорох. Бабка не выдержала:

— Ждать-то можно, чай, места не просидишь. Только у нас, сударушка, свой разговор с отцом Митрием.

«Ах, вот кто это! Загарьевский поп...» Парасковья Петровна иногда случалось слышать об отце Дмитрие, как-то незаметно выплывшем после войны в районном городке.

От бесцеремонных слов Грачихи отец Дмитрий смутился, и при этом доморощенный нигилист сразу же исчез в нём — перед Парасковьей Петровной предстал просто добрый старик.

— Ох, уж ты, Авдотья Даниловна! — недовольно произнёс он. — Ну какие у нас секреты? Просто свои дела решаем. Вам только, Парасковья... э-э, простите, занёмаювал, как вас по батюшке?

— Петровна.

— Вам, Парасковья Петровна, будет скучно слушать. — И, боясь, как бы неожиданная гостья не ушла, не унесла с собой подозрение, поспешно начал объяснять: — Слышали, найдена старинная, считавшаяся безвозвратно утерянной икона Николая-угодника, которую когда-то почитали как чудотворную. Вот она... — Отец Дмитрий показал в угол белой, со вздвигшимися голубыми венами рукой. — Это для нас, верующих, своего рода ценность, я бы сказал, общественная...

Он говорил мягко, но в мягкости его не ощущалось нерешительности, напротив, проскальзывали наставнические нотки.

— ...Место такой реликвии в храме...

Бабка Грачиха перебила его:

— В каком храме? От нас подальше норовите утащить! Храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть его надо.

— Рад бы душой, да вряд ли удастся.

— Надо, батюшко, не полениться пороги обить. Один начальник не разрешит, к другому, что повыше сидит, пойти да поклониться... Легко ли нам в каждый раз, чтоб господу помолиться, за двенадцать вёрст к вам в Загарье гулять?

Отец Дмитрий сдержанно пожал плечами, отмолчался с сокрушённым лицом.

Парасковья Петровна разглядывала его. Вот сидит перед ней старичок с дедовски мутноватыми глазами, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, приличный разговор, — глашатай¹ господа бога, представитель обречённого на вымирание, но не желающего вымирать племени. Кем он был? Вряд ли всю жизнь только служил богу. Верит ли сам в бога? Верит ли в то, чем живёт она, Парасковья Петровна? Как сегодняшней день уживается в его

¹ Г л а ш а т а й — вестник, приносящий весть, известие.

ста́рой голо́ве с заветами Христа́, наивными легендами о воскрешении, свято́м ду́хе и райских ку́щах?

— Оте́ц Дми́трий,— реши́ла заговорить Параско́вья Петро́вна,— раз уж пришло́сь встрети́ться, дава́йте потолку́ем.

Без те́ни настороже́нности оте́ц Дми́трий склонил седую́ голову, выража́я на своём лице́ лишь одно́ — полне́йшее вни́мание.

— Я как неве́рующая по́мню, что в на́шей стране́ сохра́няется свобода́ вероисповеда́ния. Никто́ не мо́жет запрети́ть челове́ку моли́ться како́му уго́дно бо́гу. Но и наси́льственное прину́ждение к ве́рованию запреща́ется.

Оте́ц Дми́трий с гото́вностью покача́л голово́й: «Так, так, ве́рно». Ба́бка Грачи́ха, ниче́го не поня́вшая из ре́чи учи́тельницы,— «свобода́ вероисповеда́ния», «наси́льственное прину́ждение»,— почу́яв, одна́ко, недобро́е, серди́то переводила́ своё́ кошачьи́ глаза́ с отца́ Дми́трия на го́стью.

— А здесь, в э́том до́ме,— продолжа́ла Параско́вья Петро́вна,— на моего́ учени́ка, пионе́ра, си́лой надели́ крест, си́лой заставля́ют моли́ться...

— Это, судáрушка, не твоё́ де́ло! — ре́зко переби́ла Грачи́ха.

— Обожди́, Авдо́тья, пото́м возра́ишь,— отмахну́лась Параско́вья Петро́вна.

— И ждать не бу́ду, и слу́шать не хочú! На́-кася, в семе́йные дела́ лезет!.. А я-то, убо́гая, всё гада́ю: заче́м пришла́?

— Авдо́тья! — неожиданно стро́гим тенорко́м оборва́л её оте́ц Дми́трий.— Хочú погово́рить с челове́ком. Иль для́ э́того из до́му твоего́ уйти́?

Грачи́ха срáзу же осе́клась, едва́ слы́шно заворча́ла под нос:

— Хвата́ет ны́нче распоря́дителей-то... Распоряжа́йся себе́, то́лько в чужо́й до́м не лезь...

Подня́лась, отошла́ к пе́чи, серди́то застуча́ла ухва́тами. По спине́ чу́ствовалось: напряже́нно прислу́шивается к разгово́ру.

Параско́вья Петро́вна продолжа́ла:

— Шко́ла учи́т одно́му, семья́ же — совсе́м друго́му. Или шко́ла заста́вит ма́льчика отказа́ться от бо́га, и́ли семья́ сде́лает из него́ свято́шу¹. В на́ше вре́мя сере́дины бы́ть не мо́жет. А пока́ бу́дет иди́ти спор, два же́рнова мо́гут перемоло́ть, перекале́чить жизнь ребёнку. Пусть роди́тели ве́руют как хот́ят и во что хот́ят, но не по́ртят ма́льчику бу́дущего. Его́ бу́дущее принадле́жит не то́лько им. Во́лей и́ли нево́лей о́ни стано́вятся престу́пниками перед о́бществом.

Ба́бка Грачи́ха, согну́вшись, шевели́лась чуть слы́шно у пе́чки, броса́ла из-за плеча́ горя́щие взгля́ды. Оте́ц же Дми́трий, ве́жливо вы́ждав па́узу, споко́йно гля́дя в лицо́ учи́тельницы сво́им стари́ковски до́брым, че́стным взгля́дом, осто́рожно спроси́л:

— А како́е я име́ю касате́льство к э́тому, Параско́вья Петро́вна?

— Стои́т ли объ́яснять, оте́ц Дми́трий? Са́мое прямо́е. Вы для э́той семьи́ духо́вный па́стырь, и ва́ше отноше́ние к де́лу для меня́ небезынтересно.

— Гм... Вот вы упомяну́ли сло́во «престу́пники». Престу́пник тот, кто выступи́ает про́тив зако́на. Скажи́те, бу́дет ли противозаконным тако́й слу́чай. Ма́льчик из любопы́тства спра́шивает свою́ ве́рующую мать: «Есть ли, ма́ма, бог на небе?» Обы́чный де́тский вопро́с, но он касает́ся осно́вы осно́в вероуче́ния. Ве́рующая мать, са́ми посудите́, не мо́жет ина́че отве́тить: «Есть бог, сыно́к». А е́сли де́тское любопы́тство бу́дет простира́ться и да́льше: «Како́й бог из себя́, что он де́лает?» — то ма́тери приде́тся объ́яснять о триеди́нстве, о бессме́ртии ду́ш, о Су́дном дне². Там, гляди́шь, ве́ра вошла́ в ребёнка, там и моли́твы и крест на ше́ю. Где тут гра́ница зако́нного и противозаконного? Где же тут, скажи́те,

¹ Свято́ша — богомо́льный челове́к, стро́го исполия́ющий церко́вные обре́ды.

² Триеди́нство — в христиа́нском уче́нии триеди́ное божество́, в кото́ром соединя́ются три лица́: бог-оте́ц, бог-сын и бог — дух свято́й. Бессме́ртные ду́ш — в религи́зных представле́ниях — ве́чная жизнь. Су́дный день — в не́которых религи́ях — суд над людьми́ при так на́зыва́емом конце́ ми́ра.

преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребёнка, или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Парасковья Петровна?

«Ловок! Советским законом, словно брёвнышком, подперся»,— удивилась Парасковья Петровна и только тут поняла, как глупо было с её стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого по взглядам человека.

— Есть много преступлений,— сказала она,— которые не сразу подведёшь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее вредными для общества.

— Каждый смотрит на вещи по-своему: вы так, я эдак,— с готовностью подхватил отец Дмитрий,— а закон для всех один. И, поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка запутался бы, не нашёл, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому...— Отец Дмитрий тодняял склонённую голову. Расплывчатые, рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой поросли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину.— Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы ни обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько позволяют мне слабые силы.

Выражение сурового лица бабки Грачихи чуть-чуть смягчилось. Она стояла у шестка, сложив свои тяжёлые руки на животё, глядела на учительницу с беззлой издёвкой: «Не кичись, что умá палата, мы тоже не лыком шиты».

Отец Дмитрий вынул из кармана металлический портсигар с отштампованной на крышке кремлёвской башней, взял из него папироску, постучал по башне, прикурил, с отеческим прищуром взглянул сквозь дым на Парасковью Петровну.

Та продолжала наблюдать за ним.

Этот батюшка не только хорошо уживается с советскими законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно, кричать анафему зарубежному капиталу. Во всем покорен, со всеми согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы. Из-за этого-то «малого» и начинается война. И тут седенький старичок, играющий сейчас металлическим портсигаром с изображением кремлёвской башни на крышке,— враг Парасковье Петровне. Вот он сидит напротив, ласково глядит, вежливо улыбается. Интересно бы знать одно: сознаёт ли он сам, что они друг другу враги, или не сознаёт?..

— Мы всё равно не придём к согласию,— сказала Парасковья Петровна.— Я хотела бы добавить только одно, что ваши кивки в сторону закона напрасны. Я вовсе не собираюсь подавать в суд, действовать при помощи милиции. Есть другая сила — общественность. Она же, я уверена, будет на моей стороне.

— А я,— с дружеской улыбкой подхватил отец Дмитрий,— осмелюсь заверить: ни в чём не буду вам препятствовать.

Тяжёлая дверь избы со всхлипом открылась. Вошла Варвара, с беспокойством поздоровалась с учительницей.

15

Отец Дмитрий решил держаться своего правила — «я стороня». Едва Варвара опустилась на стул, как он поднялся, вежливо потоптавшись и покашляв у порога, натянул на седую голову кепку, вышел во двор.

Бабка Грачиха спохватилась, что потеряла много времени на толки и перетолки, принялась метаться по хозяйству: то исчезала в сенях, то ныряла в погреб, то замечала мусор у печи, время от времени бросая подозрительные взгляды в сторону загостившейся учительницы, прислушивалась.

Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, туго устоялась в крупные пуговицы на вязаной кофте Парасковьи Петровны.

А Парасковья Петровна убеждала:

— ...Губишь парня, Варвара. Мать ты ему или мачеха?.. Ведь он пять лет проучился в советской школе, а ему и всего-то-навсего двенадцать. Почти половину жизни его учили, что бога нет. Товарищи его смеются над баснями о чудотворных иконах, о Пантелеймонах-праведниках. Неужели тебе хочется, чтоб и сын твой был посмешищем?..

— Что тут дивного,— отозвалась от печи старуха, не переставая с ожесточением возить веником по полу,— изведут парнишку и от училища ещё благодарность выслужат. Ноне и не такие дела случаются.

— Авдотья, делай-ка свои дела. Дай поговорить спокойно,— сурово обрехала Парасковья Петровна.

Бабка бросила веник, громыхнула заслонкой, сжав губы в ниточку, двинулась к выходу, в дверях бросила:

— Правда-то небось глаза колет.

— Что дороже для Роди: бабкина опека или школа? — продолжала Парасковья Петровна.— А ведь дойдёт до того, что парнишка с отчаяния школу бросит, ну чем останется. Иль ты думаешь, он проживёт всю жизнь одними бабкиными молитвами?..

У Варвары жёлтые глаза широко расставлены, между ними кожа на плоской переносице туго натянута. И в этой туго натянутой коже, во вздернутом коротком носу чувствовалась как-кая-то безнадежная тугодость. Слушает, не возражает, но каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах.

— ...Если ты такая верующая, крестись, молись вместе со старухами, но оставь Родиона в покое. Слышишь, Варвара, пожалей парня!

И в опустошённых глазах Варвары зашевелилась тревога, они растерянно забегали по столу, влажно заблестели. Туго натянутая на переносице кожа стала стягиваться в упругую

складку. Огрубёлым пáльцем Варвára провелá вдоль щели между скоблёных досок столá, заговори́ла:

— Я вот самá невёрующей была́ и... наказана. Муж бросил. Легко́ ли подумать, с двадцати́ пяти́ годóв живу́ бобы́лкой не бобы́лкой, а вроде́ э́того. Вдруг да за грехи́ па́рню моему́ то́же неподходя́щая до́ля вы́падет? Как подумáю об э́том, сёрдце кро́вью облива́ется. Вот вы бо́га, Петро́вна, не признаёте, а ведь кто зна́ет... Мо́жет, слы́шит нас...

— Кто слы́шит?

— Да бо́г-то.

Пóлная, бе́лая ше́я, из-под засти́ранной ко́фты выпира́ют гру́ди, плéчи покáтые, пúхлые, в то же вре́мя крéпкие — зрела́я, пóлная здоро́вья же́нщина. А в све́тлых с сýзившимися в муши́ную то́чку зрачка́ми глаза́х тупа́я трево́га. Нет в них мы́сли, оди́н страх. Параско́вья Петро́вна вспо́мнила её девчо́нкой, своёй учени́цей: крúглая, ро́зовая ро́жица, бо́йкие, с блéском, как у игри́вой ко́шечки, глаза́,— уж во вся́ком слúчае глупы́шкой не каза́лась. Видáть, не все́-то с годáми соверше́нствуется в приро́де.

— Эх, Варвára, Варвára! Как в тебя́ вдолби́ть? Этим стра́хом да ди́костью и покалечишь жизнь сы́ну.

— Го́споди! Да ра́зве нельзя́ ему́ в бо́га ве́ровать и жить, как все?

— То́-то и оно́, что нельзя́. Вре́мя Пантелёймонов-пра́ведников отошлó.

Сле́зы потекли́ по щека́м Варвáры.

— За что мне наказáние тако́е в жи́зни?

— Кли́н-то вышибáют кли́ном. Подумáй обо всём, что я сказа́ла. И ещё заруби́ себе́ на носу́: шко́ла па́рня на вы́учку стару́хам не отда́ст.— Параско́вья Петро́вна подняла́сь.

Она́ шла к до́му своёй медли́тельной, тяжёлой похóдкой, чуть суту́лая, пóлная же́нщина в обвисшей вяза́ной ко́фте, уважа́емая все́ми учи́тельница, у кото́рой ка́ждый второ́й встреча́нный в селе́ — её учени́к.

Она́ шла и ду́мала о том, что и её самое́ жизнь ра́дует не одними́ уда́чами, мно́го, о́чень мно́го разочарова́ний. Вся́кий

раз, когда вглядываешься в своих учеников, невольно любишься ими. Не любоватьея нельзя: детство всегда обаятельно. Каждого представляешь в будущем, видишь взрослым: Пётя Гаврилов рисует — как знать, не стáнет ли он художником! У Паши Горбунова эдакая прадёдовская крестьянская жилка — любит слушать о земле, о яровизации — быть ему агрономом. За все тридцать лет работы от каждого своего ученика Парасковья Петровна ждала в будущем только хорошего.

И разве не горькое разочарование испытала она, когда Михаил Соломáтин, заведовавший магазином при сплавконтóре, был посажен на восемь лет за растрату? Он в школе был несколько не хуже других. Что испортило его? Что толкнуло на преступление? Растратил — посадили, причíной не заинтересовались. Осóт¹ сорвали, корень оставили.

Вот и Варвара, мать Рóди Гуляева... Что заставило её стать такой? Неужели в этом есть вина её, старóй учительницы Парасковьи Петровны?

Дома Парасковью Петровну ждало обычное дело — ученические тетради. В стопке тетрадей она отыскала тетрадь Рóди Гуляева. Обложка еле держится, углы загнулись, первая страница написана любовно, без помарок, вторая же начинается с протёртой дырки: неудачно сводил кляксу. Мальчишечья тетрадь.

Она прожила с колхозом с его зарождения до сегодняшнего дня. Жила не бок о бок, а внутри колхоза. На её глазах сменялось двенадцать председателей, на её глазах построили всё хозяйство: фермы, телятники, конюшни. И это хозяйство успело уже отслужить своё, понемногу начинают отстраивать заново. Ей ли не знать во всех мелочах жизнь Варвары Гуляевой...

Окончила пять классов; сперва просто помогала матери, потом была зачислена в первую полеводческую бригаду; боронила, косила, жала, молотила — делала, что приказывали

¹ Осóт — сорная трава.

бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить её: по-раскинь сама мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы. Никто не учил: думай над жизнью, вникай в неё. Все, от колхозного бригадира Фёдора до районного начальства, только приказывали: борони, жни, коси по возможности быстрей, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберёмся. Помнили: она — рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме того, ещё и человек, часто забывали. А Варвара была не из тех, что могла доказать: она способна думать. Покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой. Неизбежен умственный застой, неизбежно и то, что ей приходилось искать всемогущего, справедливого повелителя, который был бы всегда под рукой.

А тут ещё война. Тут ещё неудача с мужем, вечный мелочный страх перед завтрашним днём. Так ли уж нужно винить её, что она бросилась искать спасения у бога?

Парасковья Петровна застывшим взглядом упёрлась в низенькое деревенское оконце. На столе забыто лежала раскрытая на диктante тетрадь Родьки Гуляева.

16

После большой перемены Васька Орехов принёс Родьке новость:

— А к вам в гости поп из Загарья приехал. Завтра перед твоей иконой молебн служить будет.

— Ты откуда знаешь?

— Тетрадку забыл, домой бегал. Мамка сказала.

Ох, как не хотелось идти домой! Мало гостей, тут ещё поп... После школы Родька долго бродил по пустырю, но голод не тётка — пришлось идти...

Во дворе, уткнувшись мордой в сено, дремала незнакомая лошадь. В избе, однако, кроме бабки и матери, никого не было. Они ругались.

Мать с заплаканными глазами, со вспухшими губами, с непривычной для Родьки злостью кричала на бабуку:

— От школы отобьётся! Легко ли жить нынче неучем-то! Вся жизнь на переко́с у парня пойдёт. Мать я ему́ или не мать?

— Ты шире уши распускай, такие ли тебе ещё песни напойт. Они на это мастера великие. Иль учительша для тебя важней господа? — Бабука стояла посреди избы с кирпично-красным от гнева лицом, с растрёпанными седыми волосами.

— Всю виню сама́ перед богом приму́. Замолю сыновьи грехи, а отбивать от школы не дам! Не след ему́ со школой не ладить!

— Вот они́, слова́ Иудины! Ещё, бессовестная, диву даёшься, что счастья нет! Да за какие заслуги счастья-то тебе? Чем ты перед богом поступила? От бога́ плоть свою́ спрятать хочешь? Ужо́ отзовется это. Да не на тебе, на Родьке. По материной дурости́ будет он век вековечный беду́ мýкать...

Бабука первая заметила остановившегося у порога Родьку.

— Вон он, безотцовщина, скáзывается кровь... Должно́, всё до послéднего словéчка вытряс перед учительшей. А та рада: фу-ты ну-ты, я в вашем доме начальница! В отца́ Дмитрия слóвно клещ впилась... Господи! Да за что я старáюсь! За счастье́ же ваше. Много ли мне надо? Одно́й ногой в могíле стою́...

Мать бросилась к Родьке, прижала к себе, запричитала на всю избу́:

— Горюшко ты моё! Что мне с тобой́ дéлать?

Тёплая грудь матери уютно пахла, как после сна пахнет нагрéтая лицом подушка. Родьке, раскáявшемуся в том, что он пришёл домой, вдруг стало жаль мать.

— Повой, повой, от этого́ лёгше не стáнет. Всё одно́ от бога́ не спрячешься,— сердито выговáривала со стороны́ бабука.

Постукивая костылём, вошла́ Жеребиха; не разгибаясь, откинув лишь голову, веселенько окли́кнула:

— Ай нелады́ какие?

— Где уж лады́! — отозвалась бабука.— Учительша тут не-

да́вно была́, смути́ла во́все Ва́рку. Беда́, мол, бу́дет с па́рнем, коль от бо́га не отка́жется.

Жереби́ха, бе́гая че́рными, не по весёлому лицу́ ту́склыми гла́зками, простуча́ла к ла́вке, усéлась, со́гнутая, наце́лившаяся голово́й в сто́рону Варва́ры, мя́тко спроси́ла:

— Это кака́я учи́тельница? Параско́вья Петро́вна? Так она́, ро́дные, партíйная. А им, партíйным, тако́й ука́з дан: всех на́чисто от бо́га отбива́ть. Ди́ва нет, что отгова́ривала.

Мать ви́новато опра́вдывалась:

— В шко́ле-то за бо́га не похва́лят. А сама́ посудí, куда ны́нче без шко́лы де́нешься? Велика́ ли ра́дость, коль Ро́дка всю жизнь, как мать, во́зле коро́вых хвосто́в торча́ть бу́дет?

— Тут уж, касату́шка, выбра́ть не́чего. Как госпо́дь по́ложит, так и бу́дет. Про́тив его́ во́ли не пойдёшь.

— Живу́т же лю́ди без бо́га,— возрази́ла Варва́ра,— не ху́же нас с ва́ми.

— Слышь, каки́е ре́чи ведёт? — бро́сила ба́бка.

Жереби́ха пошевели́лась на ла́вке, се́ла плотне́е, средь ве́селых морщи́нок мрачно́ато гляде́ли че́рные гла́зки.

— Под мечо́м по́днятым живу́т, ма́тушка, под мечо́м. То́лько с ви́ду их жизнь гла́дкая да развесёлая. А гля́нуть внутрь, в ду́шу-то влезть, подí, чи́стый содо́м да мае́та¹. Поразмы́сли то́лько: от бо́га отказа́лись. Лю́ди ты́щи лет в бо́га ве́рили. Неужели́ за ты́щу лет не наро́дилось поу́мне́й ны́нешних? Не от ума́ всё э́то, а от горды́ни. Глу́хи и слéпы. Бог нет-нет да и пошлёт о себе́ ве́сточку. То́лько э́ти ве́сточки-то понима́ть не хотя́т. Васи́лия Помело́ва по́мнишь? Хоть да́льний, да ро́дственничек мне. То́же партíйный, куда́ уж, пе́рвым за верёвку взя́лся, чтоб ко́локол со свято́го хра́ма стяну́ть. На всех угла́х крича́л: «Лери́гия — дурма́н! Бо́га не́ту!» И уж поплати́лся за своё богоху́льство. Не приведи́ госпо́дь такую́ смерть приня́ть. Как война́ нача́лась, его́ пе́рвого, голу́бчика, под ружьё забра́ли. До фро́нту не доéхал, бо́мба пряме́хонько в него́ попа́ла, ко́сточек не оста́лось, в зе́млю схорони́ть не́чего. Вот оно́, наказáние — могíлки и той нет, и пожале́ть не́кому, и попла́-

¹ Содо́м да мае́та — здесь: смяте́ние и му́ка.

коть некому. Вёрка-то, жёнка его, живёхонько к другому переметнулась...

Родька, забытый всеми, стоял, прислонившись к печному боку, и слушал. Никогда за всю жизнь он серьёзно не думал о бóге. В школе говорили: бóга нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабкиной воркотнёй, со слезами матери, с чём-то скучным, неинтересным, не дававшим пищи для размышлений. Случись это раньше, он наверняка бы не обратил внимания на слова старой Жеребихи. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нём нельзя не думать, если говорят, нельзя не прислушиваться. И он слушал, смутные сомнения приходили в голову: «Тыщи лет люди в бóга верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бóга искал. Раз искал, значит,



верил... Но почему теперь в бóга верят больше старухи да старики? Бабка верит, а Парасковья Петровна нет... Парасковья Петровна умней бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Парасковьи Петровны умней был. Непонятно всё...»

Жеребиха не могла знать, что у парнишки, прижавшегося к серому печному боку, глядящего на неё круглыми, остановившимися глазами, идёт сейчас внутри лихорадочный спор. Она, суетливо облизнув обметанные губы, напевно, со вкусом продолжала, обращаясь к Варваре:

— Уж кому бы в голову пришло поинтересо-

ваться, не зря же в разорённой цёркви каждую ночь в одно и то же вре́мечко, ну, исто́во в одно вре́мечко, хоть по часа́м, хоть по петуха́м проверя́й, пи́ление идёт. Не господа́ний ли это́ знак? Ни́кому, ли́шенько, в го́лову не приде́т поприслу́шаться да на са́мих себя́ огляну́ться. Ой, сле́пы лю́ди! Ой, глу́хи... Ни́чего-то ви́деть не хотя́т, ни́чего слы́шать не желáют. А господа́ остерега́ет, остерега́ет, да ве́дь и его́ терпе́нию приде́т ко́нец. Падёт вдруг на люде́й ка́ра бо́жия, дожде́мся уже́ мо́ра и́ли ве́ликого го́лода, по́здно тогда́ бу́дет ка́яться. Ой, Варю́ха, Варю́ха, опа́мятуйся! Перед чем го́лову сгиба́ешь, от чего́ отво́рачиваешься?

Варва́ра столбо́м стоя́ла посре́ди избу́, на бе́лой широ́кой переноси́це вы́ступила испари́на, глаза́ блестя́ли, вот-во́т из них бры́знут слёзы.

На крыльце́ послы́шались шага́, неспешные, уве́ренные, мужские́. Вошёл стары́к, снял с го́ловы кепку́, дли́нные ко́смы се́дых во́лос упáли на воротни́к. Жереби́ха сорвала́сь с ме́ста, бо́йко застуча́ла па́лкой по́ полу:

— Благослови́, ба́тюшка!

А из раскры́тых дверей слы́шалось покорное о́ханье взби́рающейся на крыльцо́ Агнии Ру́чкиной:

— Но́женьки мой...

На́чали собира́ться го́сти.

17

Ро́зовая от заходя́щего со́лнца, в сторо́не от села́ стои́т цёрковь. Её́ привётливый вид вме́сте с запу́щенной ли́повой ро́щицей, с га́лочьим хорово́дом над ку́полом был приви́чен, как вкус ржа́ного хлёба.

Эта взды́бленная над дере́вьями колоко́ленка со ржа́вым ку́полом лу́ковкой, намозо́лившая глаза́, связа́на с тайнственны́м бо́гом. Не от Жереби́хи пе́рвой слы́шал Ро́дька, что сре́ди но́чи, мину́та в мину́ту, кто́-то пи́лит ку́пол.

Врут, коне́чно...

А е́сли нет?

Не ребя́чье любопы́тство, не досу́жая страсть к откры́ти-

ям — Родьку раздирали сомнения: есть ли бог или нет его? В этом коротком вопросе был сейчас весь смысл будущей жизни. Никогда Родька не задумывался прежде, как жить ему. Жил, как живут все его гумнищинские однолетки: учился в школе, летом пропадал на реке, ловил рыбу, купался в Пантюхином омуте, в жатву возил снопы на колхозной лошади, был горд, когда бригадир ставил ему за это «палку» — целый трудовень. Его ли забота, как жить... Мать с бабушкой всегда поставят на стол чашку щей и крупно нарезанный хлеб, а большего Родьке и не надо. О чём, о чём, а о боге, о душе и думать не думал... Но теперь не увернёшься от вопроса: есть ли бог?

Врёт бабушка, врёт мать, врёт старая Жеребиха! Нет бога!

А если не врут?.. Тысячу лет люди верили. Лев Толстой верил. А пиление в церкви по ночам?.. Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал. Теперь вот запала в голову, не выбьешь. Вот ежели б самому послушать?..

Стоит на отшибе церковь. Из чистой, словно умытой, рощицы (листва ещё по-весеннему свежа) торчит колокольня, как древний воин в остроконечной шапке. Родькины зоркие глаза видят даже, как мельтешатся галки в воздухе. Там спрятана тайна, тревожная, пугающая. Врут или не врут?..

Как только начали собираться гости, Родька потихоньку сбежал из дому. Он давно уже сидит на задворках дома бабушки Жеребихи, прячется от людей. Люди могут помешать думать, люди будут с ним заговаривать о другом, а ни думать, ни говорить сейчас, кроме этого проклятого вопроса, Родька ни о чём не может.

Как в жидкую тину, в лиловый туманный лес медленно погружается солнце; оно побагровело, раздулось от натуги. И от того дальнего леса, от края земли, от самого солнца через луга упрямо, не сворачивая ни перед чем, тянется, железнодорожная насыпь. Давно уже показался на ней красный, впитавший в себя лучи тонущего солнца дымок. Он растёт. Доносится шум поезда — ближе, ближе, сильней, сильней. На чёрном теле паровоза заблестело какое-то стекло, пропылало

мину́ту-другу́ю о́стреньким, сло́вно пробива́ющимся сквозь бу́лавочный проко́л, огонько́м, погасло. Товарные ваго́ны при за́кате ка́жутся раскалёнными. Парово́з простуча́л че́рез весь луг, таща́ за собо́й э́тот дли́нный раскалённый хвост, нырну́л в решётчатую ко́рбку мо́ста, вновь вынырнул, пробежа́л да́льше и скры́лся за це́рковью.

В ти́шинé неожídaнно разда́лся вы́крик:

— А вон Родька сидит!.. Эй, Родька!

Перевали́вшись живото́м че́рез ве́тхую изгородь, подбежа́л Ва́ська Оре́хов. На ху́деньком, с о́стрым подбородком ли́це обы́чная ра́дость: «А-а, вот ты где!»

— Что ты тут де́лаешь?

Родька не отве́тил, но Ва́ська и не ждал отве́та, он оберну́лся и закрича́л:

— Венька! Иди́ сюда́, здесь Родька сидит! — так, сло́вно э́то изве́стие бы́ло бог зна́ет каки́м подарком для Веньки Лупцо́ва.

Венька не спеша́ подоше́л. Он хоть и помири́лся с Родькой, но и сейча́с из-под че́рной, как воро́нье перо́, че́лки гляде́л со спря́танной угрю́мой насто́рожённостью недобры́й глаз.

— Что де́лаешь? — повто́рил Венька Ва́скин вопро́с.— Га́лок счита́ешь?

— Тебе́-то что?

— Да ниче́го. Из дому́ небо́сь вы́жили?

В э́ту мину́ту Родьке не хоте́лось затева́ть ссо́ру, он со вздо́хом призна́лся:

— Терпéния моего́ нéту.

Эта покóрность привела́ Веньку в ми́рное настроéние. Он присéл на зéмлю ря́дом с Родькой.

Все трóе до́лго молча́ли, уста́вившись впе́рёд, на ширóкий луг с подру́мяненными на за́кате горба́ми плóских хо́лмиков, на тлéвшую вдали́ колоко́ленку. Пёрвым пошевелíлся Родька, беспóмощно взгляну́л на това́рищей, спросíл:

— Вот про це́рковь говорят, там врёде по но́чам кто́-то кúпол пíлит.

— Погова́ривают,— согласи́лся равноду́шно Венька.

— Ты знаешь Костю Шарáпова? — нетерпеливо заёрзал Вáська.— Тракторíстом в прóшлом годú здесь рабóтал. Он, скáзывают, по часáм проверял. Рóвно без десяти двенадцать кáждую ночь начинаётся.

— Врёт, навёрно, твой Кóстя,— нерешительно возразил Рóдька.

— Кóстя-то!

Вéнька перебил:

— Я и от другíх слýшал.

— Ну, а кóли прáвда, тогда́ что это?

— Кто его́ знает.

Сно́ва замолча́ли, на э́тот раз уста́вились то́лько на коло-кóльную.

— Нечíстая síла бúдто там,— рóбко вы́сказался Вáська.

— Враньё! — обрэзал Рóдька.— Ба́бья болтовня́! Была́ бы нечíстая síла, тогда́ и бог был бы.

— Но ведь Кóстя-то Шарáпов в бо́га не ве́рил, а я сам слýшал, как он рассказывал, с ме́ста мне не сойти́, е́сли вру.

— И я что́-то слýшал, то́лько не от Кóсти,— подтверди́л Вéнька.

— Ребáта! — Рóдька вскочíл с земли́, сно́ва сел, взволно́ванно заглядывая́ то в Вáськино, то в Вéнькино лицо́.— Ребáта, пойдёмте сего́дня в це́рковь... Вот стемнеёт... Са́ми послу́шаем. Ну, бойтесь?

— Это но́чью-то? — удиви́лся Вáська.

— Эх ты, уже́ с пёрвого сло́ва и в кусты́. Ты, Вéнька, пойдёшь? Иль то́же, как Вáська, испугáлся?

— А чего́ боя́ться-то? Ты пойдёшь, и я пойду́.

— И то, не на Вáську же нам с тобо́й глядётся. Прáвду про него́ мать говори́т, что на де́вку заказ был, да па́рень вы́шел.

— А я что, откáзываюсь? — стал защища́ться Вáська.— То́лько чего́ там де́лать? Ежели и пи́лит, на́м-то како́е де́ло...

— Да ты не ной. Не хо́чешь идти́ с на́ми, не запла́чем.

Рóдька неожиданно́ пришёл в како́е-то возбуждённо-не́рвное и весёлое настроéние. Вéнька Лупцо́в де́лал вид, что ему́ всё равно́...

В самой гуще ночи, в глубине села, отмеченного в темноте огоньками, ночной сторож Стёпа Казачок ударил железной палкой в подвешенный к столбу вагонный буйфер — раз, другой, третий, четвёртый... Удар за ударом — дын! дын! дын! — унылые и однообразные, они поползли над тёмным влажным лугом, через заросший кустами овражек, где, усталые от ожидания, сидели трое мальчишек, через реку, где под обрывистым берегом недовольно шевелилась весенняя вода, куда-то к железнодорожной насыпи и дальше, дальше, в неизвестность.

— Одиннадцать часов, — прошептал Родька. — Может, пойдём не спеша?

— Рано. Что мы в церкви-то торчать будем? — возразил Венька.

Васька Орехов как-то беззащитно поёжился и притих.

Опять принялись ждать.

Венька глухим, уробным, страшным для самого себя голосом продолжал рассказ о том, как его отец когда-то ехал волоком¹ между деревней Низовской и почином Шибáев Двор:

— Лежит он себе в телёге, а лошадь еле-еле идёт. Он и поднимается. Дай, думает, подшевелю. Поднялся, видит, что-то на дороге светится... Присмотрелся: катится впереди лошади огонёчек голубенький. Невелик сам, с кулак так, не больше...

— Ой, Венька, брось уж, и так зябко, — тихо попросил Васька Орехов.

— А ты побегай, погрейся, — предложил Венька. — Значит, огонёк катится... А батька молодой тогда был, ничего не боялся. Дай, думает, шапкой накрою...

— Ладно, Венька, — оборвал его Родька, — Васька-то еле дышит. Оставь, завтра доскажешь.

— Связались мы с ним... Надо бы тебя, квёлого², не брать

¹ В о л о к о м — тащá по землѣ, волочá.

² К в ё л о г о; к в ё л ы й — слáбый, хýлый, вáлый, больнóй.

с собо́й,— сердѣлся Вѣнька и доба́вил: — А мне вот всё равно́, каки́е хошь стра́шные рассказы слѹшать могу́ и ниско́лечко, ни на мизѣнчик, не бо́юсь.

— Реба́та, я домо́й пойду́. Ма́мка лупцо́вки даст,— попро́сил Ва́ська.

— Я тебе́ пойду́! — вски́нулся Вѣнька.— Вме́сте уговари́вались. Ты убежи́шь, а мы оста́немся... Нашѣл ры́жих!

Так в перерѹгивании и в приглуше́нной воркотне́ шло время́.

Наконе́ц Ро́дька решѣтельно встал:

— Идѣм!

Вѣнька с Ва́ской неохóтно подня́лись.

Ночь была́ безлу́нная, три ѣли четы́ре круп́ные звезды́ прогля́дывали в ра́зных конца́х не́ба ме́жду набежа́вшими обла́ками.

Шли гусько́м: впередѣ Ро́дька, за ним Вѣнька, сза́ди, прижимáясь к Вѣньке, наступáя ему́ на пѣтки, семенѣл, спотыка́ясь, Ва́ська Орѣхов.

Тропѣнка была́ усѣяна тугѣми, как резѣна, ко́чками прошлогóднегo подоро́жника. Ро́дька до бо́ли в глаза́х вгля́дывался в темноту́. Вот в не́скольких шага́х, прѣмо на тропѣнке, зама́йчило что́-то живóе, волк не волк, вѣше во́лка, шѣре во́лка, страшне́е во́лка, сидѣт и жде́т... Сѣрдце начина́ет тяжелó бить в грудь, звон стоѣт в уха́х от бро́сившейся в го́лову кро́ви. Шаг, ещё шаг, ещё... И тропѣнка огиба́ет невысо́кий кѹстик, он не вѣше во́лка, он не шѣре во́лка, до чего́ же жа́лок вблизи́, та́к себе́, па́ра искривле́нных вѣточек. К че́рту все стра́хи!

К че́рту?.. А что там в сторонѣ? На э́тот раз оши́бки быть не мо́жет: кто́-то в темнотѣ шевелѣтся на са́мом де́ле. Слы́шно да́же, как переступáет с ногѣ на ногу, не жде́т, са́мо иде́т навстрѣчу — большо́й, неясный сгѹсток но́чи. Оно́ мо́жет и растáять в че́рном во́здухе, мо́жет и навалѣться на тебя́ удѹшливым о́блаком... Раздало́сь фѣркание... Ух! Э́то ло́шадь! Уже́ вы́пустили пастѣсь, ранова́то вроде́, трава́ чуть-чу́ть вы́ползла.

Знакомую до последней кочки землю покрывала только лишь темнота, и знакомая земля стала непонятной, пугающей.

Родька шагнул, вглядывался вперед, и в эти минуты он готов был верить во всё: в нечистую силу, которая в любую минуту может вывернуться из-под ног, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба. И всё-таки он шёл вперед: и всё-таки он должен был проверить, сам узнать, услышать своими ушами, иначе не будет его душе покоя.

— Ой! — раздалось сзади слабое восклицание.

Родька и Венька, толкнув друг друга, повернулись к Ваське Орехову.

— Ты что?

— Ногу подвернул. Дальше не пойду.

— Так мы тебе и поверили. Только что целехонька нога была.

— Скажи прямо: душа в пятках.

Васька перестал стонать.

— А неужель не страшно?..

— Вставай! — схватил его за воротник Венька. — Или силой потащим.

— Тащите не тащите, не пойду. Я вам правду говорю: нога подвернулась.

— Мы тебе живо её вылечим. — Венька сильнее тряхнул Ваську. — Ну, долго возиться?..

— Пусты-и! Не пойду, сказал же.

— Ладно, Венька, черт с ним, пусть здесь остаётся, — зашептал Родька. — Провозимся с ним, опоздаем. Времени и так нету.

— Мокрая курица ты, не товарищ. Трещуть бы по шее разок. Сиди тут, коли так.

Родька и Венька плечо в плечо двинулись дальше. Венька ещё поругался немного и замолчал. Уж слишком был страшен и неприятен собственный голос в этой мертвой тишине.

Они приближались к церкви, но по-прежнему впереди ничего не было видно. И лишь с напряжением, до боли вглядыва-

ваясь в темноту, можно было не столько увидеть, сколько ощутить впереди себя кирпичную громаду, закрывающую полнеба.

А вокруг церкви — кладбище. Оно старое, заброшенное, давно уже не хоронят на нём покойников. Но кому не известно: чем заброшенной кладбище, тем скорей можно ждать на нём всякой нечисти.

Венька остановился.

— Родька! Слышь, Родька...

— Чего ещё? — приглушённым шёпотом спросил тот.

— Васька-то небось домой побежал.

— Ну и что?

— Он дома будет сидеть, а мы, как проклятые, в эту церковь полёзем.

— Тот же струсил?

— Не струсил, а дурее Васьки быть не хочу. Больно мне нужна эта церковь. Пропадёт она пропадом, плевать на неё!

— А зачем тогда пошёл?

— Да ни за чем. Ежели б вместе, а то вон Васька-то...

Родька вдруг почувствовал, какое это несчастье остаться вдруг одному в этой тишине, среди влажной ночи. Одному перешагнуть за церковную ограду, одному пройти мимо старых могил, одному влезть в церковь, одному там ждать... Это невозможно! Лучше отказаться, повернуть домой. Повернуть?.. А завтра опять гляди на церковь, мучайся, думай, как бы попасть в неё. Всё равно придётся рано или поздно опять идти. Нельзя отпускать Веньку! Нельзя оставаться одному!

— Вёня, мы уже ведь пришли... А Васька что?.. Васька же дурак, трус, девчонка... Мы ещё посмеёмся вместе...

— Не пойду, и шабаш... Хочешь, повернём вместе, не хочешь...

— Венька! Только поверни, я тебе опять юшку пущу.

— Тот же мне — юшку! Мало, видать, попало сегодня от Парасковьи Петровны.

— Пусть попадает. Сейчас набыю, завтра набыю, каждый день бить буду.



И быть бы драке в полночь у старой церкви, если б в темноте за спинами ребят не послышались торопливые, спотыкающиеся шаги и прерывистое дыхание. Оба забыли про драку, обернулись, прижались друг к другу.

— Родька... Венька... Это вы? — появился Васька, едва переводивший дыхание от быстрой ходьбы. — Одному-то ещё страшнее, — заговорил он прерывистым шепотом. — Просто жуть одному-то... Уж лучше с вами...

Дрожащий, просящий Васькин голос виновато оборвался. С минуты все стояли неподвижно. Без шелеста листьев, без коростельего крика облила их плотная темнота.

Родька первым опомнился.

— Пошли, — сказал он не шепотом, а вполголоса и повернулся к церкви.

Васька, споткнувшись, поспешно бросился за ним. Последним двинулся Венька.

Они вошли в широкие ворота церковной ограды.

В глубинѣ белѣла, как мѹтнѹй туман нѹчью на рекѣ, стенá цѣркѹви. Онѹ остановѹлись под дѣреѹом.

Рѹдька достáл из кармáна берѣсту, пѹднял с землѹ из-под ног сухѹю вѣтку, спросѹл:

— Вáська, спѹчки у тебѹ?.. Сейчáс берѣсту запалѹм. При огнѣ-то лѹчше.

Вáська зашептáл:

— Не нáдо, Рѹдька. Тáк-то нас никто не вѹдит. А как огѹнь, всяк узнáет: мы здесь.

— Давáй спѹчки, говорѹю!

Две рукѹ — Вáськина и Рѹдькина — не срáзу столкнѹлись в темнѹтѣ. Однá спѹчка сломáлась, вторáя дѹлго не зажигáлась. Наконѣц зажглáсь слáбеньким, болѣзненным огонькѹм — едѹнственно свѣтлая, роднáя тѹчечка в ѣтой подвáльной темнѹтѣ.

Скрѹченный, грѹбѹй кусѹк берѣсты заскворчáл, запузѹрился, как живѹй, стал сгибáться. Рѹдька надѣл егѹ на конѣц вѣтки. И из темнѹты рѹдом с нѹми появѹлась боковѹна стволá матерѹй лѹпы в бугрáх и корѹвых нарѹстах. Впередѹ, под ногáми, открѹлась замѹсоренная кирпичнѹй крѹшкой землѹ. Огѹнь шевелѹл весѣлыми языкáми, пускáл тѣмнѹй чадѹк, без всякѹй утáйки фѹркал. И страх почтѹ исчез. Рѹдька, Вáська, Вѣнька рáзом вздохнѹли, переглянѹлись мѣжду собѹй, снѹва устáвились на огѹнь.

Но по сторонáм темнѹтá ещѣ гѹще облилá раздвѹнутѹй горящей берѣстой круг. Не стáло вѹдно цѣркѹвнѹй стѣнѹ. Кáзáлось, ѣту плѹтнѹю, могѹчую темнѹтѹ ничѣм не сдвѹнешь, ничѣм не пробьѣшь, не вѹберешь из свѣтлого крѹга. Но Рѹдька, бѣрежно держá на весѹ вѣтку с кѹрчащейся берѣстой, шагнѹл вперед, и ѣта плѹтно слѹтая темнѹтá покѹрно подалáсь назáд. Лѹпа с корѹвой корѹй срáзу же исчезла, слѹвно провалѹлась под зѣмлю. Навстрѣчу вѹскочила тѹненькая, с игрѹвым изгѹбом берѣзка, срáзу же лихорáдочно зарумянилась от свѣта.

Ещѣ два шагá, и свет упѣрся в стѣну, вѹвсе не бѣлую и



Путь был пройден, оставалось только ждать.

рѳвную, а облупленную, с оскáлами кирпичей в обвалившейся штукатурке.

В стéне — окнѳ, непроницаемо затянѳтое бáрхатной темнотѳй. Чтѳ-то там? Морѳз пробирает от мѳсли, что придѳтся схватиться за кирпичный карниз, подтянуться и... окунуться головой в этѳ мрачную, бáрхатную тьму.

— Вѳнька, держи,— отдал Рѳдька берестяной фáкел.— Осторожней, берѳсту стряхнешь... Вáська, подсадѳ-ко... Что ты меня за грудки дѳржишь? Плечѳ, плечѳ подставь...

Рѳдька сел верхѳм на подокѳнник. В вѳползшей из штанѳв, пузырящейся на спинѳ рубáхе, всклокѳченная голова ушла в пѳднятые плѳчи, освещѳнный нерѳвным, плящущим огнѳм на бáрхатно-чѳрном фѳне áрочного окнá он сам тепѳрь походил на какѳго-то зловѳщего горбуна из стрáшной скáзки.

— Да... давай сюда огѳнь.

Вѳнька мѳдлил: охѳта ли лезть в этѳ проклятое окнѳ, а уж если отдашь огѳнь, придѳтся.

— Ну! — Это «ну» бѳло скáзано слѳшком грѳмко и гѳлом отдалось в пустѳй цѳркви за Рѳдькиной спинѳй.

Вѳнька поспѳшно протянул горящую берѳсту.

— Что ты в меня огнѳм тычешь? С другѳго концá давай... Подсаживай Вáську.

Из окнá, из чѳрной прѳпасти тянуло подвáльными запахами плѳсени и птѳчьим помѳтом. Рѳдька пѳрвым прыгнул туда, и в этѳ сáмое врѳмя огрѳмная, пустáя, тѳмная цѳрковь загудела, забурлила, слѳвно еѳ старую крѳшу пробил бѳшенный водопад. Снизу донѳся слáбый, заикающийся гѳлос Рѳдьки:

— Не-не... не... бѳйтесь.. Это гáлки.. Ух, скѳлько их тут!

Огѳнь осветил кусѳчек стѳны, на котѳрой проступáли какие-то картѳны, прислонѳнные к стѳне икѳны, бѳтый кирпич с блѳстками стекла на полу. Всѳ остальное — вверхѳ и по сторонам — бѳло покрѳто густѳм мраком.

Рѳдька мѳльком поглядѳл на икѳны, подѳмал вскользь: «Гляди ты, какие красивые есть. И чѳго те дѳрни на моѳ икѳну набрѳсились, врѳде она лѳчше...»

— Вы скѳро там?

Вёнька и Васька слёзли вниз, сдёрживая дрожание губ, с бледными лицами стали рядом.

Вяло покачивался огонь на обугленной берёсте, запах смолистого дыма смешивался с запахом каменной плесени. Вверху всё ещё шевелились неуспокоившиеся птицы. Путь был пройден, оставалось только ждать.

— Сколько...— заговорил Родька и сразу же снизил голос до шёпота, так как неосторожно произнесённое слово сразу же отдалось где-то под самым куполом.— Сколько времени теперь?

— Кто его знает,— так же шёпотом ответил Вёнька.— За двенадцать, поди.

— Не слышно, не было вроде.

— Да отсюда разве услышишь, сквозь стены-то?

— Услышали бы. Окна-то полые.

Они на минуту перестали шептаться. Под тёмной крышей, высоко над головой, разбуженные птицы успокаивались. Пошевелилась одна в самом глухом, в самом дальнем углу, пошевелилась другая поближе, столкнула кусочек сухой извести, он легонько стукнулся об пол, звук его отозвался под куполом. Наконец стало совсем тихо. Тонко-тонко и тоскливо зазвенело в ушах от перенапряжённой тишины.

— Враки всё,— выдохнул Родька.

— Что враки? — одними губами спросил Вёнька.

— Да это... Купол-то будто пьлят.

— Конечно, враки,— с охотой подхватил Васька.— Пошли, Родя, быстрее отсюда, чего тут торчать.

Родька не ответил.

Берёста на конце ветки прогорала. Жёлтый огонёк стал вялым. Чёрный курчавый дымок над ним вился гуще. Лица у ребят были бледные, серьёзные, непривычно большеглазые.

Родька ощутил облегчение, появилось какое-то смутное, неосознанное желание: высказать что-то (пока он не знал, что именно) презрительное и уверенное бабке с матерью, обругать Жеребиху.

Родька набрал уже в грудь воздух, чтоб ещё раз сказать:

«Враки всё...» — но вдруг воздух застыл в груди ледяной глыбой, горло сжалось...

Где-то вверху, в самой гуще давящего на головы мрака, там, где недавно шевелились обеспокоенные птицы, очень тихий, но внятный, осторожный, но проникновенный, раздался странный звук. Он действительно напоминал звук маленького напильника, въедливо, настойчиво точившего кусок железа. Звук разрастался, креп, становился громче, решительнее. Уже не крохотный напильничек, а широкий рашпиль поспешно, без предостережений, с ненавистью ёрзал по железу. Сильней, сильней, нервней, до истерических, визгливых ноток.

И звук шёл не снаружи, он был где-то в стенах, под самой крышей, висел над головой. Странно, что птицы несколько не обращают на него внимания.

Неожиданно загрохотало, завизжало — нарастающий звук взорвался. Ошеломлённый Родька в долю секунды каким-то далёким уголком своего мозга всё же успел догадаться: это рядом с ним в пустой гулкой церкви визгливо крикнул от страха Васька.

Они не помнили, как выскочили в окно, как оказались за церковной оградой...

А ночь по-прежнему стояла тихая, влажная, свежая. Покойно светились редко разбросанные огоньки селá. В стороне уверенно и беспечно постукивали колёса удаляющегося поезда. Три красных фонарика на заднем вагоне уплывали в темноту. Это, должно быть, пассажирский. Он через пятнадцать минут остановится на маленькой станции Суховатка, куда летом Родька и Васька бегали продавать ягоды.

Нет, ничего не произошло на свете. Ровным счётом ничего.

Дын! Дын! Дын!.. Через влажный луг, через реку на железнодорожную насыпь поползли унылые звуки. Ночной сторож Стёпа Казачок отбивал двенадцать часов.

Ребята не обмолвились ни единым словом. Спотыкаясь на неровной тропинке, бросились бегом к селу...

Перед самым селом их встретила беспорядочная, громкая петушиная переключка.

Опять весь вечер сидели гости. Беременная Мякишиха, прислонясь к Варваре, уставив на неё раскисшие от слёз глаза, шептала:

— Варварушка... Навар из трав пила, а веры нету. Нету веры, что всё обойдётся. Врачи скáзывают: не людская-де у тебя беременность... Сечение надо делать, резать...

Скучно вздыхала о своих ноженьках Агния Ручкина. Старик из деревни Заболотье, большой знаток Ветхого завета, курил толстые сигарки из крепкого самосада, давил их в разбитом блюде и рассуждал о «нонешней распущенности»:

— В прѣжнее-то время вся жизнь, куда ни толкнись, в страхе проходила. Оттого кругом порядок стоял...

Отец Дмитрий больше молчал, кивал головой, соглашался, только несколько раз вставил своё слово:

— Ежели человек отравлен ядом, чтоб он не умер, надо очистить тело. В жизни душа ежедневно и еженощно яд принимает. Выругался нехорошим словом — яд. Осквернил себя водкой — яд. Строптивость свою высказал, начальству не подчинился — всё яд. Вера очищает душу людей. Нет без веры духовного здоровья.

И снова замолкал, с ясным, чуть утомлённым лицом покачивал головою, думал, верно, о чём-то своём.

Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гостях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Парасковьи Петровны, после разговоров с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Час-то поздний, и где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы ползли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышлёному парнишке выносить... Не напрасно учительша пугает, ой не напрасно! Как же парню быть? От школы отворачиваться?.. Господи, вразуми... То-то и оно, что ни случись, всюду — господи, а ведь Парасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает...»

Разболелась голова. Варвара тихонько поднялась, ушла за

перегородку, не раздеваясь прилегла на койку. Сдержанно гудели голоса в соседней комнате...

Её разбудили сердитые толчки.

— Вставай-ко, вставай. Эк, разлеглась... Забыла, чай, что у нас отец Митрий ночует. Не на полати же его сунуть.— Старая Грачиха, раскосмаченная, придерживая на груди рубаху, стояла над ней.— А нашего-то гулены до сих пор дома нету. Выходила на улицу, кликала — не отзывался. Клавдию встретила, тоже своего Ваську ищет. Вместе где-то шабашат.

Выглянула за переборку, пригласила:

— Иди, бабушка, постельку сейчас соготовлю.

Варвара поднялась, заспанная, с тяжёлой головой, вышла в переднюю.

Изба хранила следы недавних гостей: пол у порога крепко затоптан, на подоконнике щербатое блюдечко усажено окурками.

Тяжело и неудобно стало в доме. Покоя и тишины хочется. Ей-то ещё полбеда, а Родьке, верно, вдвое неудобней.

Кряхтя и посапывая, за перегородкой укладывался на пригретую Варварой постель отец Дмитрий. Бабка торопливо отбила положенные поклоны, взобралась на печь. Через минуту, как обычно, полился оттуда ровный храп.

Каждый вечер опускалась Варвара на колени перед иконами, опустилась она и сейчас.

Что сказать господу? Как пожаловаться? О чём просить, что вымаливать? Как держать себя? Всё перепуталось, ничего не понятно. Одно слово вырывается из души:

— Господи!!

Словно вполшёпота, но это крик измученного сердца, крик жалобный и бессильный.

За спиной раздался осторожный шорох. Варвара оглянулась. У дверей стоял Родька. При свете гаснущей лампы было видно его бледное, смятенное лицо.

Варвара медленно поднялась с полу.

— Родюшка... Ай опять беда какая?

Родька резко дернул плечом, словно сбрасывал с него не-



видимую лямку, связанной походкой, устáваясь в угол, прошёл на середину комнаты мимо матери. С минуты он глядел в упор на тёмную икону, потом колени его подогнулись, он вяло осёл на пол и, съёжившись, пригнув голову, зарыдал.

— Родюшка, сердёшный, да что с тобой, зóлотце? — Варвара бросилась рядом с ним на пол, обняла, сама заплакала.— Видать, снова напасть какая. Да что за наказание! Что там случилось-то, скажи?

Но Родька молчал, только плечи его под материнскими руками сильно вздрагивали.

От молчания, от слёз сына, от чудотворной, зловеще выкатившей белки глаз, от всего непонятного, что творилось на белом свете, Варвару охватил дикий ужас. Новая беда! Новые несчастья! Мало прежних?! Надо спасать сына, надо оградить его от беды!

Варвара крепче обхватила Родьку за вздрагивающие плечи, приподняла, шипящим шепотом заговорила:

— Молись, Роденька, молись, сынок! Проси прощения за себя, за мать-грешницу. Сомнениям поддалась мать-то... Ох, разнесчастные мы!.. Нет нам спасения... Молись, голубчик...

И случилось чудо... Родька, вечно бунтующий, упрямый, только из-под палки поднимавший ко лбу руку, вдруг со всхлипом вытер лицо рукавом, покорно зашевелился, встал колёнами на пол, упёршись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произнёс единственную молитву, которую знал, короткую, в два слова:

— Прости... господи...

Он крестился, лицо его выражало просительный страх, а Варвара, тоже стоявшая рядом с ним колёнами на полу, застыла от изумления и нового ужаса. Вот оно, свершение! Вот она, сила божья! Как же тут сомневаться в господнем могуществе?

21

Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать.

У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманкой с золотым крабом, всем своим морским обличем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладонку — вот он, Родька Гуляев, приехавший домой на побывку! Пусть это была по-детски наивная мечта, но мечта о будущем. А в детстве будущее и счастье — одно и то же слово.

Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придётся молиться, когда ты нашёл святую икону, когда за тобой следит сам бог, ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем

он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно вперёд. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.

Нет будущего — значит, нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку, — *самому отказаться!* Это тебе не крест на шею, это не просто стыд перед ребятами, который раньше так сильно мучил. Тогда-то страдал, а знал: пройдёт день, неделя, месяц, пусть даже год — и всё наладится, всё переживётся. Теперь не надейся на время, оно не спасёт. Тогда можно было бунтовать, возмущаться, жаловаться кому-то, хотя бы Парасковье Петровне.

Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!

Утром дома готовились к молебну, и бабка не отпустила Родьку в школу.

— Не каждый день молебны заказываем в честь новоявленной. Родька, чай, не лишний человек в этом деле. Школа не сгорит, коли он там день не побудет.

Родька молчал, не глядел, как прежде, упрямым бычком в пол, лишь тоскливо озирался. И мать испугалась его покóрности, робко и неуверенно возразила:

— Как бы шума не вышло...

— То-то вы все боголюбы.— Бабка веником, насаженным на длинную палку, обметала паутину с потолка.— Милости у бога выпрашиваете, а огласки бойтесь. А вы не бойтесь за господу шум на себя принять. Снесёте, ежели и поругают малёнько.

Родька молчал. Он молчал и тогда, когда бабка отозвала его в соседнюю комнату; роясь в коробке среди пузырьков и катушек, сердито зашипела:

— Крест-то бросил? Думал, не узнаю, нечестивая твоя душа? Говори спасибо, бог уберёт. Ради такого дня вёволочки не получишь. Народ собирается, срам на люди не хочу выносить. Вот тебе другой крестик. Ну-ко, надевай живо да не кобенься.

Шершавые пальцы бабки расстегнули ворот рубахи, твёрдая ладонь тычком по затылку заставила нагнуть голову. Шнурок крестика зацепился за ухо, бабка грубо его поправила.

Начали мыть пол, и Родька решил выйти во двор. Но когда он ступил из дверей на крыльцо, понял: лучше бы не показываться из дому.

Пошевеливая вздыбленными плечами, пробив пригнутой головой скучившихся баб, подполз к крыльцу безногий Киндя. Шапки нет, лицо распухшее, сізое, из-под заплывших век — не понять, враждебно, равнодушно или зайскивающе — уставились сквозь щёлки неподвижные глаза. Он, закинув назад голову, набрал в широкую грудь воздуха, казалось, вот-вот разразится длиннейшей речью. Но Киндя выдохнул лишь одно слово:

— Бла-ослови! — после чего, держась за утюжки, принялся кланяться, касаясь лбом земли, выставляя локти, как кузнечик лапки.

Сморщенный старичок из Заболотья, тот, что знал Ветхий завет, силюнул и отвернулся:

— Нехристь. С утра нализался... Нашёл время.

В надвинутом на глаза платке подскочила мать Кинди, ткнула тощим прокалённым кулачком в налитый кровью сыновний загривок, заговорила с визгом:

— Сгинь, бесстыдник! Сгинь, окайнное семя! Выполз зверь зверем, за мать бы посовестился.

— Бла-ословения хочу, — промычал неуверенно безногий Киндя и опять повалился лбом в землю.

— Кинька! Один останешься. Уйду, мотри! — уже без визга, с угрозой проговорила старуха. — Какое тебе благословение, дурья башка? Ведь на малом свяченого¹ чина нет.

Киндя помедлил, широкий, плотный, крупноголовый, по плечо тощей, низкорослой матери, вздохнул и боком стал отодвигаться в сторону.

¹ Свяченого; свяченый — от слов «святить», «освящённый».

— Ты, голубок, не пужайся. Идём к нам. Покудова там готовятся, посидим рядком, потолкуем ладком.

Из-под платка, козырьком напущенного на лицо, щупали Родьку выпрыгивающие вперёд глаза, костистая рука бережно и в то же время твердо взяла за локоть, свела Родьку с крыльца.

Сидевшая прямо на земле, широкая, как сопревший от непогоды суслон, Агния Ручкина зашевелилась, попробовала было подняться навстречу Родьке, но не сумела, лишь тоскливо вздохнула:

— Ох-ти, мой ноженьки...

Но из-за Ручкиной выросла закутанная в длинную шаль Мякишиха — глаза выкаченные, сухо блестящие, тонкие губы бесцветны.

— Миленький! — схватила она Родькину руку, припала к ней сухими горячими губами.

Родька с силой выдернул руку, рванул локоть из костлявых пальцев Киндиной матери, затравленно оглянулся. И тут же его взгляд упал на дорогу. К изгороди размашистым шагом приближалась Парасковья Петровна.

В своей неизменной вязаной кофте, лёгкий платочек туго стягивает прямые чёрные волосы, на лице будничная озабоченность и знакомая школьная строгость, она так не походила на тех, кто стоял сейчас во дворе, так обычна, так знакома — человек из другой жизни, утерянной для Родьки.

— Родя, ты почему не пошёл в школу?

И Родька в эту минуту представил самого себя, словно бы посмотрел со стороны глазами Парасковьи Петровны: в чистой, праздничной рубашке, стянутой пояском, смоченные волосы гладко зачесаны бабкиным гребнем — вот он, ученик из её класса, среди старух, беременных баб, в компании с пьяным Киндей и Агнией Ручкиной, квашней сидящей на земле. Это был позор. Это был конец. Худшего уже нельзя было представить.

— Родя, я спрашиваю: почему ты не в школе?

Все, кто был во дворе, молчали, с подозрительностью гля-



За Кіндей, широким, плътным, наполовину вросшим в зёмлю, сбились в кучу старүхи...

дѣли на учительницу. Парасковья Петровна не обращала на них вниманія, мягко и спокойно уставилась на Родьку.

И Родька, издѣрганый за послѣдние дни, измученный кошмарной ночью, не выдержал, схватился за голову, затопал ногами, неожиданно осипшим, громким голосом закричал:

— А-а-а!.. К чёрту-у! Всех к чёрту-у! Уходите. Все уходите! Все!!

После перваго же выкрика в окружавшей его толпѣ поднялся недовольный ропот:

— Небось на дом пришла.

— Мало ли там шелапутных, которые запросто из училища убегают.

— За теми не следят. Не-ет.

Родька с багровым лицом топал ногами, кричал:

— Уходите! Уходите! Уходите!!.

— Родя, пойдём отсюда,— не обращая вниманія на враждебный ропот, мягко позвала Парасковья Петровна.

Но Родька не слышал, его крик оборвался, он, оскалившись, оглядывался кругом и затравленно вздрагивал от рыданий.

Киндя, раздвигая плечами старушечьи подолы, пробрался к самой изгороди, задрав опухшую, кирпично-красную розу, сипловато заговорил базарной скороговорочкой:

— Ты, мамаша, извиняюсь... Иди, мамаша, своей дорогой. Не то я, человек изувеченный, за свою натуру не отвечаю...

Парасковья Петровна сначала с удивлением, потом с безглівостью



секунду-другую разглядывала сидящего на земле Киндю, отвернувшись, обвела взглядом старух, бурaviaщих её из-под чистых платков выцветшими глазами, снова обратилась к Родьке, кусающему рукав своей рубахи:

— Успокойся, Родя. Идем отсюда.

Но Киндя снова угрожающе зашевелил поднятыми плечиками:

— Ты, мамаша, слышала? Я в переглядки играть не люблю.

Давно не стиранный рубаша распахнута на груди, на распоренной физиономии — ржавчина щетины, из заплывших век глаз враждебно сторожат каждое движение учительницы. За ним, широким, плотным, наполовину вросшим в землю, сбились в кучку старухи в празднично белых платочках, старик из Заболотья по-гусиному сердито вытянул жилистую шею, судорожно ежась, мальчишка прикрывал рукавом рубахи застывший оскал на лице.

На минуту стало тихо. С шумом дышал задранный вверх голову Киндя. Парасковья Петровна, сурово выпрямившаяся, с плотно сжатым ртом глядела поверх Кинди на Родьку.

Никто не двигался, все ждали.

Парасковья Петровна первая пошевелилась. Она шагнула вдоль изгороди к въезду во двор. Без знакомой сутуловатости, распрямившаяся, с бесстрастным лицом, не замечая с угрозой подавшегося на неё всем своим коротким телом Киндю, Парасковья Петровна шла, не спуская взгляда с Родьки.

И Киндю взбесила её бесстрастная уверенность. Без того красная физиономия до отказа налилась темной кровью, сиплая, площадная брань загремела над залитым солнцем двориком. Тяжелый обшитый кожей утюжок-подпорка полетел в учительницу...

Киндя промахнулся. Утюжок с силой ударил в изгородь, жердь глухо загудела.

Парасковья Петровна резко обернулась. В её широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное,

по-мужскій жёсткое выражéние. Но к ней, опираясь рука́ми о зéмлю, полз, вы́ставив тяжёлую го́лову, си́пло выкрикивая грязные ругáтельства, калéка, бéшенный, невменяемый и жалкий. И гнев исчéз с лица́ Параскóвьи Петрóвны, то́лько на щека́х под глаза́ми проступи́л неяркий румянец. Она́ поверну́лась и, ни на когó не глядя, своим ширóким, тяжёлым ша́гом пошла́ прочь. Никто́ не двину́лся, никто́ не оброни́л ни слова́. То́лько Киндя тряс кулако́м над голово́й, выкрикивал вслед ругáтельства.

Рóдька опóмнился, уви́дел перед собо́й запáвший, морщи́нистый рот Киндиной ма́тери, с я́ростью толкну́л её в то́щую грудь, брóсился в сто́рону, налетéл на сидящую Агнию Ручкину. Та, óхнув, свали́лась на́ бок.

Чья́-то рука́ пыта́лась его́ задержать, он с остервенéнием уда́рил по ней. Оскáлясь, с мо́крым от слёз лицо́м вы́скочил на у́лицу, бего́м брóсился по доро́ге — прочь от до́ма, прочь от стра́шных люде́й.

22

Че́рез полчаса́ он сидéл до́ма у Параскóвьи Петрóвны.

Небольша́я, оклеенная весёлыми обóями ко́мнатка была́ за́полнена со́лнцем. От узкого стола́, за́валенного кни́гами и сто́пками тетра́дей, от окна́, за кото́рым выбросила не́жные обóрчатые листóчки сморо́дина, от монотóнного тикания тёмных, старинных часóв ложи́лся на измóченную Рóдькину ду́шу со́нный поко́й. Здесь бы жить, не на́до ни бескозы́рок с лéнточками, ни тельняшек, чита́ть бы э́ти кни́ги, ры́ться в тетра́дях — счастливо живёт Параскóвья Петрóвна!

С опухшим от слёз лицо́м, пода́вленный, вялый, Рóдька рассказывал о це́ркви, о непоня́тном, стра́шном звúке среди́ но́чи под кúполом, постоянно́ повторя́я одну́ и ту же фразу́:

— Раз про це́рковь они́ не врут, значит, и про бо́га то́же...

Параскóвья Петрóвна без своёй примелька́вшейся вяза́ной ко́фты, в пла́тьице ме́лким горо́шком, по́лная, невозмутí-

мая, увѣренная, слѣшала без всякаго удивленія, наконецъ покачала головой:

— Эх-хе-хе... Как ты доверчив. Исторія с церковью — старая пѣсня. Лет двадцать назадъ я самá лѣзала слѣшать это, как его там называютъ, пилѣние...

— А что это?

— Надо было самому и дознаться до конца. А то сразу в чудеса повѣрил.

— Но что?

— Недалекó от церкви, как ты знаешь, проходитъ желѣзная дорога. Когда мимо идетъ поездъ, звук от его колѣс попадаетъ в церковь и отдаѣтся под куполомъ. Такое явленіе в физике называютъ резонанс. Каждую ночь мимо церкви проходитъ в одно и то же время пассажирскій поездъ. Значитъ, каждую ночь в одно и то же время раздаѣтся звук, который ты слышал. Но чтоб его услышать, не надо даже лѣзть ночью. И днемъ ведь поезда ходятъ... Понятно тебѣ?

— Резонанс,— повторилъ Родька.

Он вспомнилъ три красныхъ огонька, уходящихъ в ночь, спокойный стук колѣс, припомнился и самый звук под куполомъ... Если разобратъся, этотъ звукъ действительно смѣхивалъ на шум приближающагося поезда, сначала тихо, издаleká, потомъ ближе, громче, только визгливей... Вмѣсто радости и облегченія, что все такъ просто объяснилось, Родька почувствовалъ страшную усталость и равнодушіе. Мучился, ночью не спалъ, даже молился, а из-за чего?.. Тóшно теперъ думать об этомъ, тóшно вспоминать.

— Исторія эта забывалась,— рассказывала Парасковья Петровна,— потомъ опять о ней начинали говорить. Только одни старухи все вѣрили, что она связана с нечистой силой... Э-э, да ты, братецъ, не слѣшаешь?

— Я домой больше не пойду,— заявилъ Родька.

— А я тебя и не отпущу. Поживешь денекъ-другой у меня, пока мы все не уладим. Я сейчасъ уйду в школу, освобожусь от уроковъ и отправлюсь в Загарье, в райкомъ партіи. Поговорю начистоту.— Парасковья Петровна поднялась.— Есть за-



— Я домой больше не пойду,— заявил Родька.

хóчешь — суп в пёчке, достáнь сам. Захóчешь погулять, иди. Ключ под двéрю положишь. А то кни́жки чита́й...

Она́ ушла́.

Рóдька знал, что муж Параскóвьи Петрóвны, тóже учíteль, давнó, ещё до войны́, когдá его́, Рóдьки, ещё не́ было на свéте, попáл с лóшадью в полынью́, простудíлся и ўмер. Параскóвья Петрóвна жилá одна́ в своём дóмике, по хозяйству ей помогáла тётя Гла́ша, шкóльная убо́рщица. Иногда́ Параскóвья Петрóвна бралá себе́ на кварти́ру какую́-нибудь молодую́ учíteльницу, жилá с ней до тех пор, пока́ та не выходíла зáмуж.

В пустóм дóме одному́ Рóдьке стáло тосклíво. Он походíл из кóмнаты в кóмнату, пощúpал рука́ми кни́жки на полках, но взять их постесня́лся.

Рóдька лёг на ўзенький дивáнчик, заки́нул рúки зá голову и стал разглядывать весёлый узóр на обóях. Лежáл час, лежáл два часá, арестáнт не арестáнт, а врóде этóго. Лежáл и думáл об однóм — об икóне.

Его́ потрево́жил осторо́жный стук в дверь. Он испугáлся, что войдёт кто́-нибудь из учíteлей. Бúдут расспра́шивать, сочу́вствовать, качáть головой... Он вы́глянул в сосéдную кóмнату и увíдел, что в дверь бо́чком вошла́ его́ мать, испугáнная, постарéвшая, со страдáльческой синевóй под глазáми.

— Рóдюшка,— гóрестно и виновáто произнеслá она́.— Ты здесь, со́кол?.. Я всё село́ избéгала, всё кругóм обры́скала...

Воровскí огля́дываясь, она́ рóбко подошла́, освéдомилась шёпотом:

— Нет хозяйки-то?

И когдá Рóдька тряхну́л в отвéт головой — нет, вздохну́ла свободнее.

— Идём, гóлубь, домóй! Идём!.. Молéбен-то давнó кончил-ся. Все ушли́. Тишина́ тепéрь дóма, слáва тебе́ гóсподи! Идём, гóрюшко моё!..

Она́ запла́кала, и Рóдьке стáло жаль её.

Почему́ ему́ нельзя́ жить с ма́терью и ба́бкой, как живúт

все ребята? Что мешáет?.. Проклятая икона! Ведь до неё всё шло хорошó.

Она́ припóмнилась ему́ со всéми подро́бностями: с чёрным лицóм, разделённым дли́нным и у́зким нóсом, с яркими глазны́ми я́блоками, с кро́хотным огонькóм лампа́дки вóзле боро́ды. Как он её ненави́дит! И ба́бку ненави́дит и мать — вцепи́лась в икону, нет чтоб отда́ть Жереби́хе, обра́довалась игру́шке. А э́та игру́шка всю жизнь ему́ поломáла! Всю! Чужие лю́ди жалéют, а ей наплева́ть! На до́ску променя́ла!..

23

Не то́лько из-за одной исто́рии с Ро́дей Гуля́евым реши́лась Параско́вья Петро́вна побыва́ть в райко́ме па́ртии. Если б де́ло бы́ло то́лько в одно́м Ро́де! Своего́ ученика́ она́ сама́ как-нибудь оберегла́ бы, обузда́ла бы роди́телей. Но за послéднее вре́мя всё ча́ще всплыва́ют глухие слúчай. В про́шлом году́ в дере́вне Пятиды́мке откры́лся родничóк со «святой водо́й». Зимой комсомо́лка Фро́ся Костыле́ва уéхала из Гумни́щ в сосéдний райо́н Ухто́мы и там венча́лась в це́ркви. Э́то де́ло не обсу́ждали по той причíне, что Фро́ся «сняла́сь с учёта». А крещéние дете́й, а пьяные престóльные пра́здники!.. На́до в конце́ концов всерьёз погово́рить в райко́ме.

Шёл сев, и не́чего бы́ло рассчи́тывать, что колхо́з даст ло́шадь. Нача́вшее подава́ться к за́кату со́лнце крéпко припека́ло. Плащ пришлóсь снять и переки́нуть че́рез ру́ку. Па́хло прéлой листьво́й, вы́лежавшей под сне́гом хво́ей, па́хло весéнным травяни́стым гниéнием, обеща́ющим не умира́ние, а обновлё́нную жизнь. Параско́вья Петро́вна шага́ла ты́сячу раз исхо́женной доро́гой, вóзле кото́рой бы́ли знако́мы ка́ждая ёлка, ка́ждый пенёк. Три́дцать лет по э́той доро́ге носи́ла она́ свои́ заботы́. Постаре́ла, голова́ усы́пана се́динами, и о́пытнее ста́ла, и умнее́ — измени́лась, то́лько заботы́ оста́лись прéжными. Возмо́жно, по э́той же доро́ге она́ носи́ла заботы́ о Ро́дькиной ма́тери. Учи́сь, ста́рый педаго́г, на просчё́тах! Не допу́сти, чтоб Ро́дя Гуля́ев вы́рос похо́жим на свою́ мать!..

За спиной Парасковьи Петровны послышался стук копыт о влажную землю. Она подалась к обочине, обернулась. Весело взбрасывая сухой головой, украшенной от челки к носу белой проточиной, приближалась лёгкой рысцой лошадь. Она поравнялась с учительницей, и человек, сидевший в пролётке, натянул вожжи:

— Тпру-у!

В мягкой, крепко надвинутой на лоб кепке, в брезентовом плаще, в каких обычно ездят районные уполномоченные, седая бородака растрёпана встречным ветерком, возвышался в пролётке отец Дмитрий.

— Издалека вас приметил, Парасковья Петровна. Вы не в Загарье? Разрешите просить об одолжении — подкинуть вас до места.

Коляску потряхивало на выбоинах. Весело бежало вдоль дороги еловое мелколесье. Отец Дмитрий вежливо посяпывал, ждал, когда Парасковья Петровна первая начнёт разговор, не дождался, заговорил сам:

— К великому сожалению, узнал, что вас утром обидел этот пьяный инвалид. Не судите его строго, он достоин скорей жалости, чем осуждения.

— Я незлопамятна.

— Вообще-то народ здесь не испорченный, добрый, гостеприимный. Один порок — упрямы чрезвычайно.

— Упрямы? В чём? Не замечала.

— А вот настаивают, чтоб я хлопотал об открытии возле Гумниц храма. Никаких возражений не хотят слушать.

— А вам разве помешает этот храм?

— Нет. Я служитель церкви, и было бы грешно лукавить, что не желаю открытия ещё одного храма.

— Тогда вы должны быть довольны их упрямством.

— Вся беда, что теперь открытие храма Николы на Мостах невозможно. Не дадут разрешения. Вот если б, скажем, этот храм был занят под склад или зернохранилище, тогда другое дело. Я, конечно, не присягнул бы за удачный исход, но хлопотать было бы куда легче.

— Почему? — удивилась Парасковья Петровна.— Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, её труднее освободить.

— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется, вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих.

И не в первый раз за их короткое знакомство Парасковья Петровна с удивлением взгляделась в этого человека. Уткнув бородку в грубый воротник плаща, держа на коленях вожжи своими старческими, со вздвигшимися венами руками, он всей своей плотной фигурой выражал скромное достоинство.

Это не только божий агитатор, во славу господу действует не одними молитвами. Гумнищинский колхоз, который уже год не соберётся поставить новый клуб, сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарём сельсовета, а тут сколько вам нужно: сто тысяч, двести, триста — пожалуйста, не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтоб не бегала за двенадцать километров ко всенощной, имела храм под боком, без особых хлопот неслá туда своим трудом и экономией добытые пятакí. Отец Дмитрий незаметен, районные власти не прорабатывают его на заседаниях, не привлекают к общественным нагрузкам, живёт себе, ворочает делами, улаживает верующих, себя не забывает. Вот он — кепчонка мятая, плащ дешёвый, а пролетка новая, лошадь сытая... Загарьинское ронó, государственное учреждение, не может выхлопотать себе лошадь, школьным инспекторам приходится бегать в командировки пешком.

Молчание Парасковьи Петровны, должно быть, насторожило отца Дмитрия. Он, повернувшись на тесном сиденье всем телом в сторону учительницы, снова заговорил с интонациями интимной душевности:

— Есть вечная, как мир, истина, Парасковья Петровна: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. Вы это делаете по-своему, а я — по-своему, как могу.

— К чему вы это?

— К тому, Парасковья Петровна, что чувствую некоторое недоброжелательство ко мне с вашей стороны.

— Разве оно вам мешает?

— Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Не скрою, среди нынешних священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть и просто недалёкие, необразованные, без особых идеалов. Но есть и такие, кто всю душу отдаёт служению добру. Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но, если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позором? Почему это должно возмущать?

Это был уже вызов на откровенность, и Парасковья Петровна решила его принять.

— Потому и возмущает, что вы пытаетесь добрые чувства вызывать именем бога, именем Христа.

— А не всё ли равно, Парасковья Петровна, через бога или через что другое вызываются добрые чувства? Лишь бы они появились.

— Нет, не всё равно. Как там в библии сказано, если память не изменяет: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни.

— Как же это мы отнимаем? Помилуйте! Пусть люди пахут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла.

— В страхе... Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плётка? Почему вам кажется, что всё доброе, всё хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вред-

ность плохого? Я педагог, и я знаю, что нельзя воспитывать детей запугиванием. Вы через запугивание пытаетесь воспитывать людей. Вредная практика! Та же бабка Грачиха всю жизнь жила в страхе перед господом богом. Но ведь это не помогло ей стать чище, лучше, достойнее других, которые давным-давно отбросили этот страх.

— Парасковья Петровна, поведение старой и, я бы сказал, неумной женщины ещё не доказывает, что люди не должны жить без веры. Вы, конечно, не будете закрывать глаза на то, что вера в бога может помочь людям верить в другие полезные дела. Хотя бы, к примеру, во время войны я поддерживал среди своих прихожан веру в победу великого русского воинства. Кстати сказать, это была не только духовная поддержка: мои верующие внесли около двухсот тысяч рублей в фонд обороны. На них, наверно, была отлита не одна пушка.

— Да, верю, польза была. Но сколько вреда тем же людям вы принесли вместе с такой пользой?

— Покорнейше прошу, объясните, что за вред?

— Я учила Варвару Гуляеву, чтоб она умела во всё вникать, обо всём самостоятельно мыслить. Я хотела, чтоб она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать. Мир для неё стал тёмным и непонятным. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему, — просто божья благодать. С войны в Гумнищинском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всём и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождём не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут ещё вы вдальбываете: терпи, ибо всё от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а со-

здавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени. Спасибо вам за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинству оценили и вред.

Отец Дмитрий сделал неопределённое движение плечами, словно говоря: «Воля ваша, как хотите думайте...»

— Мы никого, Парасковья Петровна, не тянем к православной вере за уши,— заявил он с достоинством.— Наш долг — лишь не отворачиваться от людей.

— Если бы вы тянули за уши, тогда наш разговор был бы более простой. Вы существуёте, этого уже достаточно. Но как бы вы ни притворялись, как бы вы ни успокаивали себя, что ваше добро и ваша вера с нашей сладится, всё равно вы знаете: будущее грозит вам тлёном и забвением. Не примите это как личную обиду.

Чувственные губы отца Дмитрия скорбно поджались.

— Как знать, как знать,— после недолгого молчания возразил он.— Потянулись же после войны люди к богу. Всякое может случиться вперёд.

— Вот вы какие! Называете себя рыцарями добра, а сами тайком ждёте больших народных несчастий. Авось они вам помогут. Не так ли?

На этот раз отец Дмитрий ничего не ответил, только качал сокрушённо головой, отвернулся. Остаток дороги проехали молча.

Парасковья Петровна сошла у райкома партии. Отец Дмитрий натянул снятую при прощании кепку, почтительно проследил взглядом, как Парасковья Петровна, чуть сутуловатая, твёрдо ступающая своими тяжёлыми сапогами, поднялась по крыльцу и скрылась за дверями того учреждения, в которое он никогда не имел ни нужды и ни желания заходить.

В районе кончался весенний сев. Райком партии был пуст, все разъехали по колхозам. В общем отделе стучали машинистки, за закрытыми дверями в пустых кабинетах ярост-

но надрывались телефоны. В кабинете первого секретаря Ващенко, пользуясь его отсутствием, уборщицы выставляли зимние рамы, мыли стекла.

В скупо освещённом коридоре растерянно слонялись от одной двери к другой два парня в телогрейках. Видно, приехали из какого-то отдалённого колхоза, привезли с собой кучу неотложных вопросов и теперь недоумевали, на голову какого же начальника свалить их. Каждый раз, как Парасковья Петровна проходила мимо, они провожали её пристальными, вопрошающими взглядами.

Один только заведующий отделом пропаганды и агитации Кучин сидел на своём месте. Парасковья Петровна вошла к нему.

Кучин, держа перед собой какую-то бумажку, побывавшую, видно, не в одном засаленном кармане, кричал в телефонную трубку:

— Горючего нет?.. Вы мне этим горючим глазá не заливайте! Третьего дня пять центнеров выслано... Ах, застряла! Кто ж в этом виноват: я или господь бог? Почему трактор на вырубку не бросили? Три дня чешетесь! Три дня!..

Парасковья Петровна, опустившаяся на стул, с удовольствием прислушивалась к молодому, упругому голосу Кучина.

Стены кабинета в несвежей штукатурке, портрет Ленина над этажеркой, забитой книгами, стол с треснувшим стеклом и плечистый молодой человек за ним, напористо занимающийся будничными, земными делами,— до последней мелочи всё здесь было своё, знакомое, далёкое от отца Дмитрия, Грачихи, пьяного Кинди, угрожавшего ей утром.

Кучин бросил трубку, облегчённо вздохнул:

— Из-за дорог, того и гляди, завалим сев. Там горючего нет, тут семенной материал застрял!.. Здравствуйте, Парасковья Петровна! Какой ветерок к нам прибил?

Парасковья Петровна только собралась объяснить, что за «ветерок» занёс её в этот кабинет, как снова зазвонил телефон, и ей снова пришлось долго ждать, пока Кучин с той же напористостью объяснял кому-то, что райком партии не зани-

маётся распределением льносемян, что надо обращаться к товарищу Долгоаршинному, что он, Кучин, вполне согласен, Долгоаршинный — жук, каких мало, всегда норовит «голый камушек яйчком сварить», порá бы, пожалуй, потрясти его на бюро и т. д. и т. п.

Наконец оба, боязливо косясь на телефон, заговорили.

Парасковья Петровна была одним из тех немногих почтенных людей в районе, фамилии которых употребляются не иначе, как с эпитетами «старейший», «заслуженный», тех, чьи фотографии перед каждым праздником украшали райисполкомовскую Доску почёта, кого на собраниях обязательно усаживали в президиум. Поэтому Кучин сейчас слушал её с особым вниманием, с подчеркнутой почтительностью.

Это был плечистый, высокий парень с буйной шевелюрой, с крепкой красной шеей и открытым лицом, от которого несло простодушным здоровьем. Узкий канцелярский стол был для него тесен, трудно было ему держать в чинной неподвижности свои большие, сильные руки, трудно сидеть не двигаясь, слушать, а не говорить, не доказывать кому бы то ни было правду-матку своим упругим голосом. Его глаза с тёплой, какой-то домашней рыжевatinкой выдавали приглушённую энергию, весело стреляли то в Парасковью Петровну, то на разложенные на столе бумаги, то в окно.

Но по мере того как Парасковья Петровна объясняла, простодушное лицо Кучина окрепло, под подбородком у шеи собрались упрямые складки, рыжеватые радужные глаза потемнели.

— Эк! — с досадой крикнул он и так распрямился, что стул заверещал под ним птичьими голосами.— Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, всё время съедают горючее для тракторов, овёс для лошадей, заботы вплоть до божьего солнышка.

— Для этого время должны найти.

И Кучин задумался, энергично растирая ладонью щеку, морщась от собственных мыслей.

— М-да... Дело не во времени. Когда мы говорим — надо поднять урожайность, плохо ли, хорошо, мы знаем как. Удобрения, своевременные прополки, культивация — словом, есть целая агрономическая наука с точными указаниями, что делать, как поступать. Но вот говорят: разверните антирелигиозную пропаганду. Как её развернуть? Начать высылать лектора за лектором, которые бы объясняли, будет ли конец мира? Во-первых, на такие лекции ходят обычно неверующие. Во-вторых, если верующие и придут, то одними лекциями их не вылечишь.

— Так почему же вас не беспокоит такая беспомощность? Вы заведующий отделом пропаганды и агитации, вы партийный просветитель в районе, почему я до сих пор не слышала вашего тревожного голоса? Почему вы занимаетесь горячим, овсом или, как там сказали, заботами о солнышке и забываете позаботиться о самом важном: о сознании людей?

Парасковья Петровна исподлобья глядела на Кучина, а тот, под её взглядом утративший свою жизнерадостность, как-то сразу заметно отяжелевший, с крепко сжатым ртом, в углах которого появились жесткие складки, слушал, навалившись на край стола широкой грудью.

— Про сознание людей мы не забываем. А если и забудем, то нам напоминают, иной раз довольно чувствительно, — заговорил он. — В Ухтомском районе кучка стариков и старух потянула за собой молодежь на крестный ход в честь какой-то там старо- или новойявленной святой. Кому попало? Виновникам? Нет, они все здравствуют в полном благополучии. Попало секретарю райкома, попало такому, как я, заведующему отделом пропаганды.

— Правильно попало.

— Видимо, правильно, спорить не приходится. Только всё же надо помнить, что здесь, в райкоме, сидят обыкновенные люди, а не какие-нибудь чудотворцы. Тысячу лет на Руси людям вдальбивали сказки о божге. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: ну-ка, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тыся-

челётняя муть о царствии небёсном в два счёта выветрилась из голов верующих, чтобы стали они чистыми, как стёклышко!

— А кто от вас требует делать это в два счёта? Вы, я помню, на своём месте сидите уже четвертый год, до вас занимал Климов ваш кабинет, до Климова ещё кто-то... Разве тогда менее остро стояли эти вопросы? Чем вы можете похвалиться? Чего вы добились?

— Добились многого. В те годы, когда Климов сидел здесь, колхозники получали на трудодень по триста граммов хлеба, теперь те же колхозники получают впятеро больше.

— Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. При чём тут хлеб?

— А при том, что хлеб, овёс, горючее — всё это своего рода борьба с религией. И вы сами прекрасно понимаете. Старые приёмчики борьбы — схватить попа за бороду да вытряхнуть его из храма — давным-давно осуждены как вредные. Теперь мы идём в наступление на религию не лобовой атакой, а медленным, постепенным натиском. Нельзя за год, за два, даже за десятилетия уничтожить то, что вросло тысячелетиями. Столетнее дерево не сшибёшь ударом кулака, его нужно подкапывать снизу, с корней.

— Общие фразы.

— Нет, мы теперь меньше всего произносим фраз по поводу религии. Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в щак, добротная одежда к зиме, затем радиоприёмник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши доказательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднева! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своём углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателя колхоза Гриднева больше верят, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гриднёвых у нас в районе не густо. Потом другая сторона. Вы ждёте от нас помощи, а мы её ждём от вас. Таких, как вы, Парасковья

Петрѳвна, по нѳшим деревнѳм и сѳлам разбрѳсаны сѳтни: учителя, агрономы, врачѳ. Нас в райкомѳ единицы, вас — ѳрмия. Почему бездѳйствуете? Лѳгче всего надѳяться, что ветерѳк из райкома разгѳнит тѳчи.

— Кто-то дѳлжен поднять ѳти сѳтни. Скажите нам — пора! И мы поднѳмемся. Мѳжет быть, не все сразу, но мнѳгие зашевелѳтся.

— Комѳнды ждѳте. А ѳти старѳхи, навѳрное, не ждѳли комѳнды, когда слѳтались к чудотѳрной. Нѳдо, чтоб антирелигиѳзная пропагѳнда стѳла неотъемлемой частѳцей сѳвести кѳждого мало-мѳльски культѳрного человека.

— Приятные рѳчи приятно и слѳшать,— мрачно согласѳлась Парасковѳя Петрѳвна.— Но что дѳлать нам сейчѳс? Что дѳлать с Рѳдей Гуляевым? Ведь я, егѳ учѳтельница, не могу же успокоѳться разговѳрами о постепенном наступлѳнии на религию?

Кѳчин сидѳл, большѳй, нахѳхлившийся, глядѳл на свои крупныѳ рѳки, вѳброшенные на стол.

— Тут я вѳжу тѳлько одѳн вѳход. Нѳдо ѳтого мѳльчика кѳк-то ѳчень осторожно отделѳть от родителей. На время, пока у тех не пройдет угѳр. А там мы найдѳм возможность поговорѳть и образѳмить ѳсли не старѳху, которѳю, вѳдно, однѳ могила испрѳвит, то хоть мать. Тѳлько как ѳто сдѳлать? В ѳтом вы, Парасковѳя Петрѳвна, должнѳ нам посовѳтовать. Вы рѳдом с нѳми живѳте, вы должнѳ знать обстановку.

Парасковѳя Петрѳвна задѳмчиво вертѳла в руках тяжѳлое пресс-папѳе, без нужды внимѳтельно егѳ разглядывала, дѳлго не отвечѳла. Кѳчин следѳл за ней со сдѳржанным беспокѳйством.

— Я бы могла взять на время мѳльчика к себе.

— Если ѳто нетрѳдно...

— Мнѳ-то нетрѳдно. Тѳлько егѳ бѳбка и егѳ мать поднимут шум, бѳдут устраивать скандал за скандалом, чѳго дѳброго, чѳрез суд начнѳт трѳбовать сына.

— Это бѳло бы хорошѳ! — Кѳчин с трѳском заворѳчался на своѳм стѳле, глазѳ повеселѳли, прѳжня энергия вернѳлась

к нему.— Пусть бы требовали через суд! Дело получило бы огласку, привлекло бы общее внимание. Разгорелся бы бой в открытую.

— И всё-таки успеют на меня вылить не одно ведро грязи.

— Не посмеют. Все эти поклонники господа действуют только исподтишка. Ваш новый знакомый, как его, отец Дмитрий, первый бросится утихомиривать родителей мальчика. Для него любой общественный шум как солнечный свет для крота. Берите к себе вашего ученика, Парасковья Петровна. А мы со своей стороны комсомольские организации на ноги поднимем, нашу районную газету попросим вмешаться...

Парасковья Петровна встала со своего стула:

— Так и сделаю.

Поднялся и Кучин, высокий, под потолок, с выпуклой грудью, туго перетянутый ремнём по суконной рубашке. Его открытое лицо по-мальчишески сияло: пусть частный, пусть временный выход, но всё-таки что-то нашли, на что-то решились. В дверях Парасковья Петровна столкнулась с теми парнями, которые бродили по коридорам. Они скрылись в кабинете, и оттуда послышался напористый голос Кучина:

— Ребята, милые! Я ж вам говорил: не в моих силах достать транспорт! Понимаю, понимаю вас! Ну хорошо, давайте позвоним Егорову...

25

В Гумнищи Парасковья Петровна вошла ночью. Устало брела тёмными улочками к своему дому мимо закрытых калиток, из-за которых на её шаг лаяли собаки.

Около сельсовета лампочка в жестяном абажуре тускло освещала выщербленный булыжник. Рядом на столбе висел ржавый вагонный бугер. Ночной сторож Стёпа Казачок обычно отбивал на нём часы. Самого Казачка нигде не видно, спит, верно, дома. Да и то, чего сторожить? Давно уже не слышно, чтобы кто-нибудь покушался на покой гумнищинских обитателей.

Парасковья Петровна снова углубилась в тёмную улочку.

Неожиданно она услышала быстрые, лёгкие шажки и прерывистое дыхание — кто-то бежал ей навстречу. Маленький человек чуть не ударился головой ей в живот.

— Кто это? — спросила Парасковья Петровна.

— Это я...

Парасковья Петровна узнала Ваську Орехова.

— Ты что в такой поздний час бегаешь?

— Пар... Парасковья Петровна... — задыхался он. — Родь... Родька в реку... бро... бросился!..

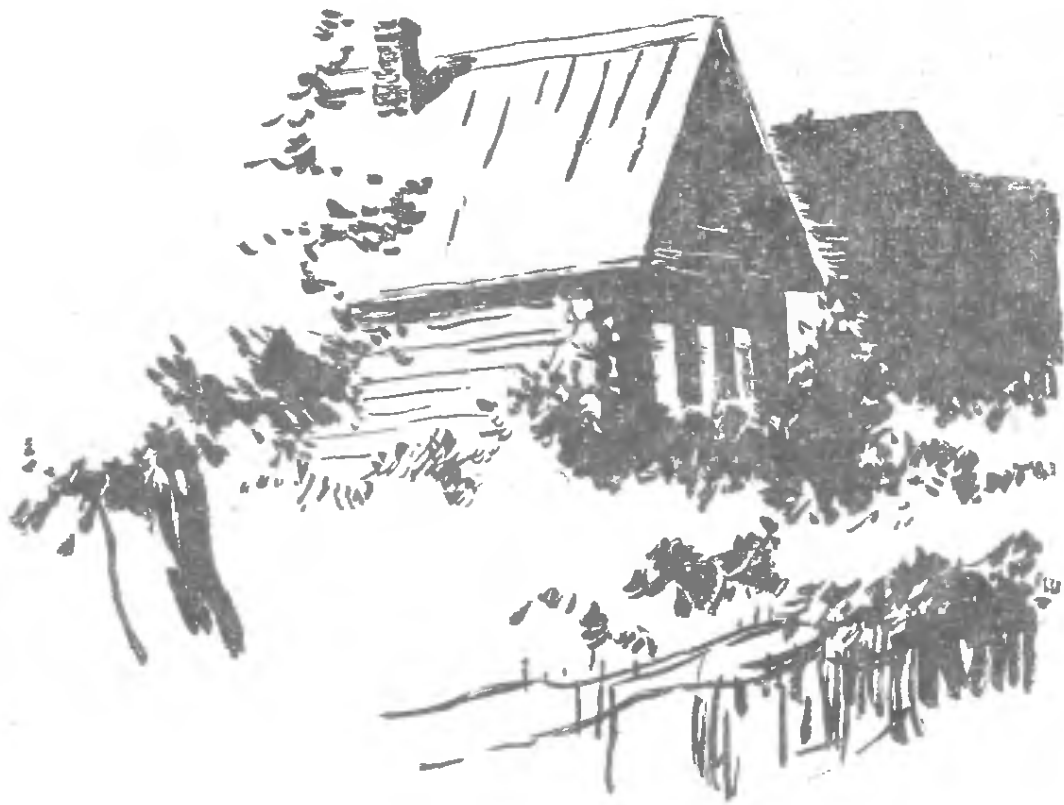
— Как — бросился?

— Топ... топиться из дому побег!.. Его сейчас Степан... Степан-сторож несёт... Это я Степана-то позвал.

— Ну-ка, веди! Да рассказывай толком.

Парасковья Петровна взяла за плечо Ваську, повернула, лёгонько толкнула вперёд. Васька побежал рядом с нею, подпрыгивая, заговорил:





— Он вѣчером ко мне прибежал...

— Кто — он?

— Родька-то... Прибегает и говорит: «Я, Васька, говорит, дома жить не буду. Сбегу!.. Я, говорит, сперва эту икону чудотворную расколочу на мелкие щепочки... Ты, говорит, мамке своей не болтай, а я к тебе ночью придю, на повѣти в сѣне спать буду». Я сказал: «Спи, мне не жалко, я тебе половинок притащу, чтоб накрыться...» Холодно же!.. Он ушел. А я сидел, сидел, ждал, ждал, потом дай, думаю, взгляну, что у Родьки дома делается, почему долго его нет. Мамка к Пелагее Фоминишне за закваской ушла, а я к Родькиному дому. Подбежал — слышу, кричат. И громко так, за оградой слышно. Я через огород-то перелез да к окну... Ой, Парасковья Петровна! Родька-то на полу валяется, в крови весь, а она его доской, доской, да не плашмя, а ребром!

— Кто — она?

— Да бабка-то... Доской... Родька-то икону расколотил, так от этой иконы половинкой прямо по голове.



Родька бежал к реке, прямо к Пантюхину омуту.

— А мать его где была?

— Да мать-то тут стоит. Плачет, щеки царапает... Стоит и плачет, потом как бросится на бабу. И начали они!.. Родькина-то мамка бабу за волосы, а бабу опять доской, доской... Родька тут как вскочит — и в дверь. Я отскочить от окна не успел, гляжу, он уже за огородец перепрыгнул. Я за ним. Сперва тихо кричу — он бежит. Пошумней зову: «Родька, Родька!» Он из села да на луг. Уж очень быстро, не успеваю никак... Потом понял: он ведь к реке бежит, прямо к Пантюхину омуту. Я испугался да обратно. Хотел мамке всё рассказать. А мамки дома нету, у Пелагеи сидит... Я — на улицу. Смотрю, Степан Казачок идет часы отбивать. Я ему сказал, что Родька Гуляев к реке побежал, его бабу поколотила. Дедка-то Степан послушный. «Пойдем, говорит, показывай, куда побежал...»

— Вытащили?

— Да нет... Никого на берегу не видно. Вода-то тихая. Стали кричать, никто не откликается. Искали, до Лётного брода дошли, обратно повернули. Ну, нет никого, и всё. А ночью под водой разве увидишь...

— И где же нашли?

— Услышали, что-то под берегом поплёскивает. Заглянули под обрыв, а там темнеется... Родька-то наполовину из воды вылез и лежит на берегу. Прыгнуть-то прыгнул, а утонуть не смог — выплыл. Он лучше Пашки Горбунова плавает... Весь мокрыхонек, голова ледяная аж... Стали его поднимать, а его вытошнило. Степан говорит: «Нахлебался парень...»

— Где же они?

— Степан-то — старик, сил мало. А Родька на ногах не стоит и глаз не открывает...

Они не успели выйти из села, как впереди замаячила тёмная фигура.

— Дедко Степан! — окликнул негромко Васька.

— Ох, бацюшки! Привёл-таки... — раздалось впереди старческое кряхтенье.

Параскóвья Петрóвна, опередív Вáську, подбежала к нему:

— Жив?

— Гóлос недáвно подавáл, выхóдит, жив... Ох, тяжелé-нек пáрень! Ни рукóй, ни ногóй не шевельнёт, вíснет, как куль с пескóм.

В темнотé мóжно бýло разглядётъ свéсившуюся гóлову, блéдным пятнóм — слóвно все черты стёрты — лицó. От его одéжды тянуло вызывáющим озноб глубíнным речнým холóдкóм.

— Дáй-ка возьму за плéчи.— Параскóвья Петрóвна остóржно просúнула свой рúки под мýшки Рóдьке.— В одной рубашóнке вíскочил... Несём ко мне!

Степáн, держá Рóдькины нóги, двíнулся, спотыкáясь и приговáривая:

— Вот онí какíе, делá-то!.. Бедá чýстая!..

Параскóвья Петрóвна сорвала со столá клеёнку, набрóсила на кровáть, уложила мóкрого Рóдьку.

На плечáх сквозь прилípшую к тéлу рубáшку просвэчивала кровь, грудь рубáшки была запáчкана грязью, в слíпшихся на лбу волосáх песóк, всё лицó, что лоб, что гóбы, рóвного зеленовáтого цвёта. Параскóвья Петрóвна протяну́ла рúку, чтóбы снять грязь со щекí, и тут же бýстро отдёрнула её — грязный сгúсток на щекé оказался спékшейся рáной.

— Степáн, ты не уходи, помóжешь мне раздётъ,— принялась комáндовать Параскóвья Петрóвна.— Вáся, бегí к Трофíму Алексéевичу. Бýстренько, роднóй, бýстренько! — И не удержáлась, вýругалась негрóмко: — Живóтные! Довелí мальчíшку!

Вместо Трофíма Алексéевича, гумнíщинского фéльдшера, минút чéрез сóрок появился с Вáськой председáтель колхóза Ивáн Макáрович.

— В Загáрье наш мéдик. У них совещáние в райздраве, загостíлся,— сообщил он грóмким гóлосом, но, взгляну́в на Параскóвью Петрóвну, осéкся. спросíл тíхо и серьёзно: —

Что тут стряслось? Парнишка, чуть не плача, на меня набросился. Утопился, говорит...

В своём неизменном бушлатике, в мишманке, сбитой на затылок, пахнувший махоркой и ночной свежестью, Иван Макарович, неуклюже ступая на скрипучие половицы, подошёл к кровати, сосредоточенно выслушал Парасковью Петровну.

— Ну и ну, выкинули с парнем колёнце! То, что карга старая ополоумела, дива нет. Но как эта дурёха Варвара допустила?

— Как допустила? — переспросила Парасковья Петровна. — Кому это и знать, как не тебе! Не под моим, а под твоим присмотром Варвара живёт.

— Я-то при чём тут? У меня и без того дел по горло. Слежу, как службу ломаете в колхозе, а чтоб ещё от святых угольников оберегать... Нет уж, не по моей специальности.

— То-то и оно. Лишь с одной стороны на человека смотрите, как он службу ломает.

Иван Макарович не ответил, стряхнув задумчивость, неожиданно закипел в бурной деятельности:

— Степан!.. Нет, лучше ты, малый. У тебя ноги молодые. Лети, браток, на конюшню, там Матвей Дерюгин дежурит. Скажи, чтоб Ласточку запрягал. Да сена побольше пусть подкинет, да не раскачивается пусть и не чешется! Через десять минут чтоб здесь, у крыльца, подвода стояла! Парня в больницу повезём... Стой! По дороге стукни в окно к Вёрке-продавщице. Пошибче стучи: спать здоровá баба. Крикни, пусть сюда поллитрочку принесёт. Иван, мол, Макарович велел. Парня надо водкой растереть, чтоб после холоду кровь заиграла.

— Когда же она это успеет, пока в магазин ходит да пока открывает... — посомневался Степан Казачок.

— Эх ты, век прожил, а жизни не знаешь! Такой товар Вёрка всегда про запас дома держит...

Парасковья Петровна, следившая за председателем, чувствовала, что он сейчас излишне шумлив и напорист, видно,

его задело за живое, теперь хоть чем-нибудь да попытается оправдаться.

— Ну, чего уши развесил? — крикнул Иван Макарович на Ваську. — Выполняй приказ! Ноги в руки, полный вперёд!

Бросившийся сломя голову к дверям Васька вдруг отскочил назад. Через порог перешагнула Варвара, растрёпанная, простоволосая, со страдальческой синевой под глазами. Она остановилась у порога, обвела всех бессмысленным взглядом. Степан Казачок виновато переминался в своём углу, Парасковья Петровна выжидательно уставилась исподлобья, Иван Макарович весь подобрался.

— Родьку моего не видели? — робко выдавила Варвара. Иван Макарович шагнул на неё:

— Родьку? А на что он тебе? Снова на святых угодников менять?

И тут только взгляд Варвары упал на кровать. На похудевшем лице Родьки, на лбу и щеках, расцвели вишнёвые пятна.

Варвара опустилась на пол, вцепилась руками в волосы, закачалась телом и сдавленно замычала. И в этом сквозь стиснутые зубы мычания, в искажённом лице, в прижатых к вискам кулаках, в медленном расквашивании было такое истощающее горе, что Иван Макарович беспомощно оглянулся на Парасковью Петровну.

Варвару, уткнувшую в ладони лицо, усадили на стул. Иван Макарович, повинувшись взгляду Парасковьи Петровны, осторожно ступая по половицам, принёс ковш воды. Парасковья Петровна села напротив.

— Выпей и успокойся, — приказала она. — Сына твоего мы сейчас увезём в больницу. Не пугайся — поправится.

Варвара припала распухшими губами к ковшу.

— Но слушай, — продолжала Парасковья Петровна, — я этого оставить так не могу. Пока в твоём доме будет жить твоя мать, я Родиона к вам не пущу. Слышишь, они не должны жить вместе. Если и ты не одумаешься, и тебе не отдам сына. Понимаю, всё сложно, всё трудно, всё тяжело, но сде-

лать нѹжно. Нельзѹ калѣчить жизнь Рóди. Бѹдете препѹтствовать, дойдѹ до судѹ.

Варвѹра снóва залилѹсь слезѹми.

26

В избѹ сквозь нѹглухо закрьітые óкна непримѣтно влїлся рóбкий рассвѣт. Стѹла отчѣтливо виднѹ не тóлько спїнка кровѹти, но и фотографїи, вѣером висѹщие на вѹцветших обóях, и щѣли на потолкѣ.

Варвѹра, пóсле тогó как пришлѹ от Параскóвьи Петрóвны, не сомкнѹла глаз. Онѹ лежѹла на спинѣ и дѹмала.

Как всегда, еѹ мѹсли забегѹли вперед, в зѹвтрашний день. Как всегда, этот день пугѹл еѹ. Рѹньше, чтоб прожїть егó покóйно, без всяких случѹйностей, онѹ просїла пóмоци у бóга, шептѹла молїтвы: спасї, бóже, помогї от налѹстей. Онѹ вѣрила в этѹ пóмощь, в надѣжде на неѹ ей становїлось лѣгче жить.

Ох, Рóдька, Рóдька! А вдруг да не вѹживет, вдруг да — страшно подѹмать — умрѣт в больнїце!.. Параскóвьѹ Петрóвна говорїт, что не опѹсно, Ивѹн Макѹрович лѹчшую лóшадь снарядїл, сам поѣхал, обещѹл, что с постѣли подѹмет самогó Трѣщинова. К дóктору Трѣщинуву из сосѣдних райóнов ѣзят лечїться... Дѹй-то бог! Утром до шкóлы опѹть нѹдо поїтї к Параскóвьѣ Петрóвне, пусть посовѣтует, как жить дѹльше. Онѹ и самѹ тепѣрь понимѹет: Рóдьке с бѹбкóй не полѹдить. Крутѹ мать, не забѹдет икóну. Будь трїжды прóклята этѹ икóна!.. Это сказѹть лѣгкó: Рóдьку от старѹхи отделїть. Пусть Параскóвьѹ Петрóвна помóжет, Ивѹна Макѹровича тóже нѹдо попросїть... Сообщѹ-то чтó-нибудь придѹмают...

Всѣ сильнѣй и сильнѣй сквозь мѹтные óкна сочїлся рассвѣт. За стѣнóй над карнїзом завозїлись воробѹй. Варвѹра лежѹла лицóм вверх, остановївшимся глазами глядѣла в потолок. Онѹ самѹ не замечѹла, что сейчѹс, забегѹя мѹслями вперед, в наступѹющий нóвый день, искѹла пóмоци ужѣ не у бóга, а у людѣй.

На вóле из концѹ в концѣ по селѹ прокричѹли петухї. За

дощато́й перебо́ркой зашевели́лась стару́ха. Слы́шно бы́ло, как, вздыха́я, лего́нько поо́хивая, спусти́лась она́ с пола́тей, полови́цы заскрипели́ под её босы́ми нога́ми. Вот она́ сту́кнулась ко́стлявыми ко́ленами о пол, забормота́ла... Ста́рая Грачи́ха нача́ла свой день, как всегда́, с моли́твы.

Варва́ре всё изве́стно наперёд. Если она́ ска́жет ма́тери, что бу́дет сове́товаться, проси́ть по́мощи у Параско́выи Петро́вны и у Ива́на Мака́ровича, наверня́ка стару́ха начне́т поноси́ть их: «Они́ такие, они́ сякие... Учи́тельница, мол, жа́лованье не за то получа́ет, чтоб чужих из бе́ды выруча́ть. Мы для них седьма́я вода́ на киселе́, за спаси́бо-то не бо́льно лю́ди торова́ты...» И, уж коне́чно, оди́н припе́в: моли́сь! Почему́ она́ всю жизнь её, Варва́ру, отпу́гивает от люде́й? Почему́ счита́ет, что нико́му, кро́ме бо́га, нельзя́ доверя́ть? Ра́зве мо́жно жить так да́льше? Ро́дька-го не понима́л все́го; тепе́рь и он учё́н. Ох, бе́дная голо́вушка! В такие-то го́ды да попа́сть в бе́ду!.. И в ка́кую бе́ду! Она́, Варва́ра, ма́ло ли, мно́го, а уже́ успе́ла пожи́ть, и то у неё голо́ва́ кру́гом пошла́ от на́пастей. Не зна́ешь, чью сто́рону приня́ть: стару́хи ма́тери и́ли до́брых люде́й? Нет, тру́дно с ма́терью остава́ться под одной́ крýшей! А как расста́ться? Жи́ли семье́й — одни́ забо́ты, одно́ хозяйство...

Стару́ха, сно́ва поскри́пывая полови́цами, заходи́ла по сосе́дней ко́мнате. Она́ показа́лась в дверя́х — взлохмáченная, в одной́ ве́тхой руба́хе, с жи́листыми те́мными рука́ми, обнажё́нными по са́мые плéчи, замети́ла пошевели́вшуюся Варва́ру.

— Не слы́шь?.. В Зага́рье я собира́юсь, — сообщи́ла она́.

Варва́ра не отве́тила. Стару́ха скользну́ла по ней бе́гающим, виноваты́м взгля́дом.

— Ла́дно, чего́ гам... Авось бог ми́лостив, всё обойде́тся. Я на́шему сорванцу́-то гости́нчиков свезу́. Небо́сь и у меня́ за вчера́шнее-то се́рдце боли́т.

Варва́ра с тудом оторвала́ го́лову от поду́шки, тяжело́ подня́лась, се́ла на кровáти. Она́ предста́вила себе́, как у ко́йки больно́го и без того́ изде́рганного Ро́дьки появи́тся ба́бка, оди́м сво́им ви́дом уничто́жит поко́й, ма́ло того́, начне́т сво́й

уговóры: «Бóга обíдел, нéслух... В грех ввёл...» Опя́ть бере-
ди́ть ду́шу па́рню! Хва́тит!

— Не ё́зди к нему́,— сказа́ла глу́хо Варва́ра.

— Чего́ так — не ё́зди?

— А так... Не хочú.

— Ужéль тебя́ спра́шивать бу́ду? Не чужа́я ему́. Внук он
мне, не по задво́рю знако́мы.

— Слу́шай, мать.— Го́лос Варва́ры зазвуча́л непривы́ч-
ными для неё но́тками скры́той озло́бленности и решите́льно-
сти.— Дава́й догово́римся подо́бру-поздорóву...

— О чём́ это́ нам догово́риваться-то?

— А о том, как бы жить врозь. Я с Ро́дькой, ты сама́ по
себе́.

У стару́хи гнёвной оби́дой заблестéли глаза́, по угла́м
плóтно сжа́того рта ре́зче обозна́чились морщи́ны. Секúнду
мо́лча она́ оторопéло гляде́ла на дочь.

— Свихну́лась, Ва́рька?

— Вида́ть, свихну́лась... и давно́, коль тебя́ во всём слу́-
шалась!

— Вскорми́ла, вспо́ила тебя́, старá ста́ла — не нужна́...
Меня́ же обíдели... Да како́е там — бо́га в до́ме обíдели!
Волчо́нок-то до чего́ доду́мался — святу́ю ико́ну топорóм!

— Молчи́!

— Так я тебе́ и замолча́ла! Как же!.. За то, что за го́спода
заступи́лась, мне подáрочек. Опóмнись, грехо́вная тво́я душа́!
Поду́май-ка, на какие́ слова́ тво́й язы́к поверну́лся! Жить
врозь! Да вы с ним подо́хнете вдвоём! Я на вас, как ло́шадь,
воро́чала! Вот она́, благода́рность-то, на ста́рости лет!..

— Если по добру́ всё ула́дим, и ты жить бу́дешь, и мы...

— По добру́?! Да где у вас, у ны́нешних, добро́-то? Что ду-
ша́ Кощéева, спря́тано оно́ у вас за тридевя́тью замка́ми, не
доберёшься. Стару́ху мать из до́ма вы́гнать на у́лицу — вот
оно́, ва́ше добро́! А нет, не вы́гоните! До́м-то мой! Я с поко́й-
ничком отцо́м тво́им, ца́рство ему́ небéсное, стро́ила, ка́ждое
бре́внышко сво́им горбо́м перепрóбовала...

— Живи́ в своём до́ме, я уйду́.

— Дождалась я! Господи! За какие прегрешения меня наказываешь? Дочь родная отрекается! Выпестовала иуду на свою голову!..

Старуха перешла на крик.

Крыша дома напротив розово осветилась от разгоравшейся зарь. В свежести утра завозились воробьи, их суматошные голоса хлынули разом, как внезапный веселый дождь с крыш.

В доме же Варвары Гуляевой утро начиналось со скандала. И чем сильнее этот скандал разгорался, тем больше крепло решение Варвары: под одной крышей жить нельзя!

Под вечер того же дня Парасковья Петровна, возвращаясь из школы, увидела перед своим домом лошадь с белой проточиной, запряженную в знакомую пролетку. С крыльца навстречу ей поднялся отец Дмитрий.

— Здравствуйте, Парасковья Петровна. Прошу не удивляться, я к вам на минутку по делу. Если вы не против, присядемте прямо здесь.

Оба они опустились на ступеньки крыльца. Отец Дмитрий некоторое время прощупывал учительницу спокойным взглядом выцветших глаз, наконец заговорил:

— Я глубоко удручен тем несчастьем, которое случилось вчера. Поверьте, по-человечески удручен...

— Вы только за этим приехали, чтоб выразить мне своё соболезнование? — спросила Парасковья Петровна.

— Нет. Я слышал, вы собираетесь подавать в суд на старуху, избившую своего внука. Воля ваша, но стоит ли поднимать шум и трескотню? Достаточен ли повод? Старая, выжившая из ума женщина предстанет перед законом за то, что устроила семейный скандал. Да и мальчик, хоть и получил некоторое потрясение, всё же теперь находится вне всякой опасности...

— Вы боитесь этого шума?

— Не скрою, он мне большого удовольствия не доставит... Я попытаюсь уладить осложнившиеся дела в доме потерпев-

шего мальчика. Дочь и мать, как недавно я узнал, не желают жить вместе. Но стоит вопрос: как разойтись, куда девать старуху? Я могу забрать её из Гумнищ, устроить при храме уборщицей...

— С одним условием, не так ли?

— Увы, да. Не возбуждать судебного дела.

Отец Дмитрий, склонив на плечо свою крупную голову, вежливо ждал ответа, чистенький, приличный, мягкий, ничем не выдающий ни волнения, ни нетерпения.

— Значит, верно сказал мне вчера один человек,— заговорила Парасковья Петровна,— что огласка для вас как солнечный свет кроту.

— Публичное поношение никому не доставляет удовольствия.

— Нет, отец Дмитрий, людского осуждения боятся только те, у кого нечиста совесть. Разрешите мне действовать по своему усмотрению. Семейные же дела Варвары Гуляевой мы как-нибудь общими усилиями уладим.

Парасковья Петровна поднялась со ступеньки.

1958



Цена 27 коп.